

РОСТИСЛАВГУНКИН

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

18+

Ростислав Тункин
ШЕСТОЙ ДЕНЬ

«Автор»

2026

Тункин Р. В.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ / Р. В. Тункин — «Автор», 2026

Школьный автобус с четырнадцатью детьми, учительницей и водителем бесследно исчезает по дороге в лагерь. Пять суток его ищут полиция, спасатели и сотни добровольцев. На шестое утро автобус появляется у моста. Все шестнадцать живы. Но дети вернулись другими. Постепенно выясняется невероятное: за пять дней исчезнувшие прожили целую жизнь. Десятилетия любви, голода, предательства и потерь. Там они выросли, создавали семьи, хоронили детей. И совершили поступки, за которые теперь придётся ответить. Когда вернувшиеся начинают погибать один за другим, отец Маши пытается выяснить, кто скрывает правду. Но страшнее убийцы оказывается другой вопрос. Можно ли вернуть себе дочь, если для неё настоящая жизнь осталась по ту сторону исчезновения? «Шестой день» — психологический мистический триллер о памяти, вине и любви, которая не всегда способна спасти.

© Тункин Р. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Шоссе	5
Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	21
Глава 5	26
Глава 6	32
Глава 7	38
Часть вторая. Размещение	43
Глава 8	43
Глава 9	49
Глава 10	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Ростислав Тункин

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Часть первая. Шоссе

Глава 1

Суббота, 13 сентября

Телефон зазвонил в семь двадцать шесть. Савина успела понять три вещи раньше, чем ответила: она спит в кабинете на трёх сдвинутых стульях, за окном уже светло, и звонит дежурный, а не Орлов.

Орлов звонил ночью. Каждую ночь, около трёх, с моста, и говорил одно и то же: «Тихо». Она отвечала: «Знаю». Никакой информации в этом не было. Так они проверяли, что оба ещё не спят.

— Ирина Сергеевна. — Колесников дышал, как после лестницы. — Автобус на четырнадцатом.

Она села. Пиджак, которым укрывалась, сполз на пол.

— Какой автобус?

— Их. Жёлтый. Волонтёры наткнулись, стоит у моста. Говорят, внутри люди.

— Какие люди?

— Дети, — сказал Колесников и замолчал. — Говорят, все.

За пять суток в отдел звонили двести с лишним раз. Девочку в розовой куртке видели на вокзале в Самаре. Мальчика видели в электричке. Автобус видели в Тольятти, в Сызрани, на фотографии в чьём-то канале, где жёлтый ПАЗ оказался прошлогодним. Женщина из соседнего района звонила каждый вечер и рассказывала, что дети в шахте под старым элеватором, она это видит. Савина научилась слушать такие звонки, не меняя положения тела.

Она надела пиджак.

— Скорые?

— Вызвали. Мухин туда уже едет, он ближе всех, с реки.

— Родителям не звонить. Орлову не звонить. — Она взяла со стола ключи и папку. — Я сама. Когда увижу.

* * *

До четырнадцатого километра было двадцать шесть минут, если не тормозить на переезде. Она не тормозила.

Пять дней на доске штаба висели шестнадцать фотографий, и она знала их лучше, чем лица собственных соседей. Маша Орлова — снимок с первого сентября, белый бант, недовольные глаза человека, которого заставили стоять ровно. Гриша Ветров — кривая улыбка, один передний зуб выше другого. Палыч, Павел Ильич Сорокин, — фото с водительского удостоверения, лицо из прямых углов. Вера Павловна Коренёва — со школьного сайта, в синем жакете, рядом с грамотой. Серёжа Ковалёв, три года, — с телефона матери: панамка, ведёрко, песок на щеке. Из-за этой панамки последние дни на штабе старались не говорить слово «река», хотя водолазы прочёсывали её с четверга.

Шестнадцать. Четырнадцать детей, двое взрослых. Она могла бы перечислить их в алфавитном порядке, в порядке рассадки, которую восстановили со слов родителей, в порядке возраста.

Лесная дорога пошла вниз, к реке. Асфальт здесь был старый, в заплатках; на обочинах после четверговых дождей ещё стояла вода. Солнце било сбоку, сквозь сосны, полосами.

Сначала она увидела машины: две волонтёрские «Нивы», патрульную с открытой дверью, людей в оранжевых жилетах. Люди стояли метрах в тридцати от моста и не подходили ближе. Так стоят у тяжёлой аварии, когда ещё не понятно, нужно ли смотреть.

Потом она увидела автобус.

Он стоял поперёк полосы у самого въезда на мост, носом к отбойнику: водитель начал разворот и не закончил. Жёлтый, с чёрной полосой и табличкой «ДЕТИ» на лобовом стекле. Двигатель работал. Савина услышала его, как только открыла дверь машины: ровный дизельный холостой ход в тишине леса.

Координатор волонтёров Таня, маленькая, в куртке на три размера больше, пошла ей навстречу.

— Мы ехали начинать от моста. Вчера тут пусто было, я сама в девять вечера проезжала. — Она говорила быстро, глядя мимо Савиной. — Дверь открыли. Они не выходят.

— Живые?

— Живые. Сидят.

— Кто-то что-то сказал?

Таня подумала. Было видно, что она уже думала об этом и ответ ей не нравится.

— Один мальчик сказал: «Не надо, мы сами». Когда Лёшка полез внутрь. И всё.

Сержант Мухин с реки подошёл с другой стороны, снял фуражку, надел обратно.

— Я внутрь не заходил, Ирина Сергеевна. Скорые будут минут через десять. Три машины, ещё две из города.

— Хорошо.

Она пошла к автобусу одна.

Вблизи он был чистым. Не помытым специально, с разводами, а чистым, как в понедельник утром на стоянке у школы. Ни грязи на арках колёс, ни пыли на стёклах, ни засохших потёков, хотя дожди шли все пять суток. Она положила ладонь на капот. Тёплый. Конечно, тёплый, двигатель работает.

Складная дверь была открыта. Изнутри тянуло нагретым пластиком, пылью сидений и чем-то сладковатым, как в машине, простоявшей полдня на солнце.

Савина поднялась на две ступеньки.

Свет шёл с востока, через левые окна, и в нём медленно плавала пыль. Все сидели. Летние куртки, лагерные футболки, рюкзаки на коленях и на соседних сиденьях. Шестнадцать лиц, и все повернулись к ней.

Никто не закричал. Никто не заплакал. Никто не сказал «здравствуйте» или «мы здесь». Они смотрели на неё так, как смотрят на человека, вошедшего в комнату, где давно идёт тяжёлый разговор.

Палыч сидел за рулём, обе руки на ободке. Савина видела его затылок, потом в зеркале — глаза.

— Павел Ильич. — Голос вышел нормальный, рабочий, и она этому обрадовалась. — Савина, следственный комитет. Заглушите, пожалуйста, двигатель.

Он посмотрел на свои руки на руле. Потом правая рука пошла к замку зажигания, нашла ключ и повернула его — не в ту сторону. Стартер коротко взвизгнул по работающему двигателю. Палыч отдернул руку, как от горячего, дождался секунду и повернул правильно.

Двигатель умолк. Стало так тихо, что Савина услышала муху: та билась в заднее стекло.

— Кому-нибудь нужна помощь прямо сейчас? — спросила она. — Кто-нибудь ранен?

Тишина. Кто-то в середине салона шевельнулся, но ничего не сказал.

Вера Павловна сидела на первом сиденье за водителем, на коленях у неё был мальчик в панамке. Она медленно трогала пальцами левую щёку: скулу, угол рта, снова скулу. Потом

подняла левую руку и согнула пальцы, по одному, начиная с мизинца. Как человек, который проверяет, всё ли на месте.

— Вера Павловна. Вы меня слышите?

Учительница перевела на неё глаза. Взгляд был ясный, очень спокойный.

— Какое сегодня число?

— Тринадцатое. Суббота.

— Какого года?

Савина ответила. Вера Павловна кивнула, как кивают, когда сообщают время отправления поезда, и сказала:

— Спасибо.

Потом обхватила мальчика обеими руками и закрыла глаза.

Серёжа Ковалёв на неё не смотрел. Он смотрел вглубь салона, поверх спинок, неподвижно, как смотрят дети на огонь. Савина проследила его взгляд и увидела девочку у окна, в шестом ряду. Белого банта не было. Волосы стянуты резинкой туго, по-взрослому, чтобы не мешали.

Маша Орлова.

* * *

Савина вышла. Скорые подъезжали одна за другой, вставали на обочине, хлопали двери.

— Каждого отдельно, — сказала она фельдшеру первой машины, крупной женщине с фамилией на бейдже, Зуевой. — С каждым кто-то из ваших и кто-то из наших, лучше женщина. Ничего не спрашивать. Если что-то скажут сами — записать дословно, со временем.

— Они дети, — сказала Зуева. — Им вместе спокойнее. Пять дней вместе были.

— Вот именно, — сказала Савина. — Вместе они уже были.

Зуева посмотрела на неё внимательно, потом пожала плечами и пошла распределять.

Выводили по одному. Палыч вышел первым, без вопросов, и встал у двери внизу, у ступеньки, как стоят водители школьных автобусов на любой остановке. Каждого спускавшегося он касался ладонью — плеча, затылка, спины, — и губы у него двигались. Савина не сразу поняла, что он считает.

Лёша Гарин, четырнадцать лет, самый старший из детей, спустился, огляделся и протянул руку сержанту Мухину.

— Гарин. Алексей.

Рукопожатие было короткое, сухое, крепкое. Мухин, не ожидавший, ответил с опозданием и потом смотрел на свою ладонь. Лёша обернулся к двери. Там стояла девочка, Юля, тоже Гарина, одиннадцать лет. Он коротко кивнул ей, один раз. Она кивнула в ответ и пошла к своей машине, не оглядываясь.

Олег Крайнов вышел и сразу встал так, чтобы видеть маленького Витю Савельева. Витю повели к скорой у обочины, и Олег, пока его самого вели к патрульной машине, не отрывал от мальчика глаз. Шёл боком.

Толю Мурова, восемь лет, сержант повёл к машине, стоявшей ближе к мосту. Мальчик сделал три шага и встал. Лицо у него стало серым.

— Ты чего? — спросил Мухин. — Боишься?

— Там вода, — сказал Толя. Без всякого выражения, как называют улицу.

Его повели в обход, к другой машине, и всю дорогу он держался так, чтобы между ним и перилами был автобус.

Даша Берёзина спустилась с тряпичной куклой. Кукла была самодельная, в платье из грубого серого полотна, с вышитым лицом. Даша держала её на плече головой вверх и прижимала ладонью к спине. Савина отметила куклу, потом отметила, как её держат, и не стала об этом думать.

Гриша Ветров вышел в куртке, застёгнутой до подбородка, руки крест-накрест на груди. Когда Зуева протянула ему одеяло, он сказал «не надо» и сел на подножку скорой лицом к лесу. Солнце уже пригревало.

Ксения Рощина, восемь лет, спускалась, держась за руку сестры. Настя, двенадцать, крепко вела её под локоть. На асфальте Ксения подняла голову и спросила медсестру — громко, звонко, как спрашивают маленькие:

— А мама приедет?

— Конечно, приедет, солнышко. Уже едет.

Несколько голов повернулось к Ксении. Савина видела это отчётливо: дети, которых уже рассадили по машинам, повернулись на её голос. И отвернулись не сразу.

Маша Орлова вышла предпоследней из детей. На ступеньке она задержалась. Палыч коснулся её плеча, она не заметила. Внизу она сделала два шага в сторону, к Ксении, которую ещё не успели увести, и взяла её за руку. Два пальца под манжету, на запястье. Потом тыльная сторона ладони к шее девочки, под челюсть. Всё заняло, может быть, четыре секунды.

— Её первой, — сказала Маша медсестре. — Руки холодные. Она в прошлый раз... — Она остановилась. — Её первой посмотрите, хорошо?

Медсестра улыбнулась.

— А ты у нас доктор?

Маша не ответила. Посмотрела, как Ксению сажают в машину, и пошла к своей.

Последней из автобуса вышла Вера Павловна с Серёжей на руках. На верхней ступеньке мальчик завозился.

— Сам, — сказал он.

Она поставила его. Ступенька для трёхлетнего была высокой. Серёжа шагнул, нога ушла в пустоту, и он упал вперёд, на ладони, на асфальт. Не заплакал. Сел, посмотрел на свои ладони — содранные, в мелком песке, — и Савина увидела у него на лице не испуг и не обиду, а злость. Взрослую, усталую, тяжёлую. Он один раз ударил кулаком по асфальту. Потом встал сам, не взявшись ни за чью руку.

Палыч опустил ладонь ему на панамку.

— Шестнадцать, — сказал он.

И сел на ступеньку автобуса, как будто у него кончились ноги. Посидел. Закрыв лицо руками.

— Все? — спросила Савина.

Он отнял руки от лица и посмотрел на неё снизу. Глаза были сухие.

— Все, — сказал он.

* * *

Она отошла к своей машине и открыла блокнот на капоте.

Время. Место. Положение автобуса. Двигатель работал. Внешний вид — чистый. Состояние — визуально удовлетворительное, видимых травм нет, кроме ссадин у Ковалёва С. при падении со ступеньки (при ней). Корнёва — вопрос о числе и годе. Сорокин — ошибка с ключом зажигания. Гарин — рукопожатие.

Она подумала и написала отдельной строкой: «Про родителей спросила одна».

Потом, ниже, мелко, для себя:

«Крайнов — на Савельева. Литвинова — на Данилова. Литвинов — ни на кого. Ковалёв — на Орлову».

Она не знала, что с этим делать. Записала, потому что так учили: записывай, пока не знаешь, что это значит, потом будет поздно.

Чистый автобус. Пять суток в лесу так не выглядят. Пять суток где-то под крышей: гараж, ангар, шланг. Кто-то держал шестнадцать человек пять дней и потом вывез их на то место, откуда взял. Кто-то, кто знал, где стоит патруль и когда он снимается. Патруль с моста сняли в

четверг, когда поиск ушёл вниз по реке. Мысль была рабочая и неприятная, и Савина записала её одним словом: «Пост».

На столбе на том берегу висела серая коробка дорожной камеры. Камера принадлежала дорожной службе и снимала мост с подъездами раз в пять секунд, ради паводков и лесовозов. Понедельничные кадры с неё Савина за эти дни просмотрела столько раз, что могла пересказать по секундам.

Она набрала Гусева. Тот ответил с третьего гудка, в трубке были телевизор и детский крик.

— Ирина Сергеевна, суббота же...

— Мост на четырнадцатом. Мне нужны кадры за сегодня с шести утра. Сейчас.

— Я из дома не...

— С сервера можете. Сейчас, пожалуйста.

Он что-то пробормотал, телевизор стих. Она ждала, глядя на автобус. Палыч всё ещё сидел на ступеньке. К нему никто не подходил: Зуева подошла было, но он покачал головой, и она отступила.

Телефон пискнул. Потом ещё раз, и ещё. Гусев сбрасывал кадры пачками.

Савина пролистала. Пустой мост в серой рани. Пустой мост, светлее. Пустой мост, первое солнце на перилах. Ни одной машины с шести до семи; в семь ноль восемь проехала волонтерская «Нива» в сторону лагеря, развернулась у поворота, уехала обратно. В семь одиннадцать — пусто.

07:14:05. Пустая полоса. Отбойник. Тень от столба поперёк асфальта.

07:14:10. Автобус. Поперёк полосы, носом к отбойнику, ровно там, где он стоял сейчас. Дверь закрыта. За лобовым стеклом — смазанное пятно лица водителя и светлые точки лиц в салоне.

Она пролистала назад. Вперёд. Назад.

Она позвонила снова.

— Пропуски кадров есть?

— Нет, — сказал Гусев. Голос у него стал другой, тихий. — Я посмотрел. Метки подряд. Пять секунд, пять, пять. Ровно.

— Значит, есть сбой, который вы не видите.

— Может быть.

— Пришлите исходники за всё утро. Не картинки — файлы с сервера, как есть. И понедельник целиком, ещё раз.

— Вы же понедельник...

— Ещё раз, — сказала Савина.

Она положила телефон на капот экраном вниз.

Автобус длиной девять метров не может за пять секунд въехать в кадр, развернуться поперёк полосы и встать. Он не может приехать ни с какой стороны так, чтобы его не было видно на двухстах метрах асфальта в каждую сторону. Значит, файлы подменены. Или камера отключалась, а метки времени дописаны. Значит, кто-то, кто держал их пять суток, знал и про камеру. Модель усложнилась на одного человека с доступом к серверу дорожной службы, и Савина вписала это в блокнот, потому что модель, которая требует ещё одного человека, остаётся моделью.

Пальцы на ручке были холодными. Она подышала на них.

Со стороны города, на большой скорости, пришла машина. Савина узнала звук раньше, чем увидела: старый серый «Пассат» с прогоревшим глушителем, который пять ночей подряд стоял вот здесь, у этого отбойника, с выключенными фарами. Конечно. Колесников мог промолчать, Мухин мог промолчать, но город маленький, а волонтеров на дороге было шесть человек, и у каждого телефон.

«Пассат» встал за патрульной машиной так, что его повело юзом. Дверь распахнулась раньше, чем машина остановилась.

Савина обернулась к скорой, в которую посадили Машу Орлову. Девочка сидела в проёме задней двери с одеялом на плечах, которое на неё накинула медсестра.

Маша повернула голову на звук. Посмотрела на дорогу.

И осталась сидеть.

Глава 2

Суббота, 13 сентября

Савина отправила его домой в три ночи.

Сказала по телефону, тем же голосом, каким говорила «знаю»: в шесть уезжаешь, это не просьба. Он не стал спорить, потому что спорить было не о чем. В шесть он завёл машину, проехал мимо пустого поста у моста, мимо поворота на лагерь, мимо обочины в двухстах метрах от моста, где во вторник кинолог потерял след и долго сидел на корточках, глядя собаку по голове. Дома снял куртку и сел на кухне. Ботинки снимать не стал. Ольга поставила перед ним чай. Он не помнил, как заснул.

Разбудил его не звонок, а Ольга. Она стояла в дверях кухни с его телефоном в вытянутой руке, и телефон звонил, а она его не отдавала. Просто держала и смотрела на экран. На экране было «Таня волонтер».

За пять дней Таня звонила ему одиннадцать раз. Он сохранил её номер в понедельник вечером, когда отряд приехал из города, и сказал ей: «Звоните мне первому. Что угодно. Мне первому». Она звонила. Нашли рюкзак — не тот. Нашли детскую кроссовку на берегу — не та. Нашли следы костра — охотники.

Он взял телефон.

— Андрей Николаевич, — сказала Таня. — Они на мосту.

Он не спросил «кто». Он спросил:

— Живые?

— Все.

Ольга услышала. Он понял это по тому, как она взялась за косяк.

* * *

Она поехала с ним. Он не предлагал, она не спрашивала. В прихожей она сорвала с вешалки Машину зимнюю куртку, синюю, с прошлого года, и всю дорогу держала её на коленях обеими руками, как держат спящую кошку. Он не сказал ни слова про куртку.

Двадцать минут до моста. Он прошёл их за двенадцать. На переезде машину подбросило так, что Ольга ударилась головой о стекло и даже не охнула.

Он думал не о дочери. Он запретил себе думать о ней ещё во вторник, на второй день, когда понял, что если будет думать, то сядет на асфальт, как кинолог, и не встанет. Он думал о том, что «все» по телефону от волонтера ничего не значит. «Все» — это шестнадцать человек в автобусе или шестнадцать тел в автобусе? Он спросил «живые?» — ему ответили «все». Но Таня — девочка двадцати четырёх лет, и она плакала.

Он увидел патрульную машину, «Нивы», скорые с работающими маячками. Увидел жёлтое. Ударил по тормозам слишком поздно, машину повело, и он открыл дверь, не дожидаясь, пока она встанет.

Савина шла ему наперерез. Она сказала что-то — «Андрей», «в порядке», «без вопросов», — он слышал слова отдельно, как через стену. Он обошёл её. Не потому, что не хотел слушать. Просто она стояла на прямой между ним и машинами.

Детей рассадили по скорым и патрульным. В открытых дверях сидели дети с одеялами на плечах. Он пробежал мимо одной машины — мальчик, кажется, Савельев, — мимо патрульной, мимо скорой, где сидел маленький Ковалёв на руках у матери. Мать прижимала его к себе и что-то говорила ему в ухо без остановки, а мальчик смотрел поверх её плеча, в сторону. Не на мать. Куда-то мимо Орлова.

Следующая.

Она сидела в проёме двери, ноги не доставали до земли. Одеяло на плечах, руки под одеялом. Волосы стянуты резинкой — он такой у неё никогда не видел, она ненавидела хвост,

говорила, что от него болит голова. Лицо — её. Подбородок, родинка у брови, царапина на скуле, которую она получила в субботу на даче, за два дня до автобуса, потому что полезла за сливой.

Царапина была свежая. Розовая, с тонкой корочкой.

Он остановился в двух метрах.

Она смотрела на него. Не бежала к нему, не протягивала руки, не плакала. Смотрела долго, очень внимательно, сверху вниз — с лица на руки, с рук на ботинки, с ботинок снова на лицо. Он знал этот взгляд. Так смотрел на него травматолог в девяносто девятом, когда его привезли после драки на рынке: не на человека, а на то, что с человеком случилось.

Он стоял и не мог сделать эти два шага. Лицо было её, а взгляд — нет. За восемнадцать лет работы он видел много раз, как люди узнают тела. Видел, как они стоят у стола в морге и говорят «не она», хотя это она. Голова отказывается. Он думал, с ним такого не будет.

Девочка подняла руку из-под одеяла и потёрла переносицу согнутым указательным пальцем. Костяшкой. Два раза, коротко.

В четыре года Маша год носила очки — врач сказал, лёгкое косоглазие, подправим. Подправили. Очки сняли. А привычка поправлять их костяшкой осталась на всю жизнь: когда она злилась, когда врала, когда не знала, что сказать. Ольга пыталась её отучить. Он говорил: оставь.

Он сделал два шага.

Он хотел обнять её и не обнял. Он опустился на корточки перед подножкой, так что их лица оказались на одной высоте, и взял её за плечи через одеяло. Плечи были маленькие. Он забыл, какие у неё маленькие плечи.

— Ты цела? Где болит? Покажи руки.

Она вынула руки из-под одеяла и показала, повернула ладонями вверх, потом вниз. Чистые. Ногти короткие, ровно обрезанные. Он отметил это машинально и не понял, что именно отметил.

— Не болит, — сказала она. Голос был её. Немного хриплый, как бывает утром. — Пап. Всё нормально.

— Кто это сделал?

— Андрей. — Савина стояла у него за спиной. — Не надо.

Он не обернулся.

— Маша. Где вы были? Вас кто-то держал? Вы видели лица?

Она смотрела на него и молчала. Не испуганно. Не так, как молчат дети, которым велели молчать: он видел таких, их видно сразу, они смотрят в сторону и облизывают губы. Она смотрела прямо.

— Пап, — сказала она наконец. — Потом. Ладно?

Потом подняла руку и коснулась его щеки. Провела большим пальцем по скуле, против щетины.

— Ты когда брился?

Он не ответил.

— А спал?

— Сегодня, — сказал он. — Час.

Она кивнула. Записала. И опустила руку.

* * *

Ольга шла от машины медленно. Он видел её боковым зрением, видел синюю куртку в её руках. Она не бежала. Он потом понял почему: Ольга боялась добежать.

Маша увидела её и встала. Сама, в первый раз. Одеяло сползло с одного плеча. Ольга остановилась перед ней, и несколько секунд никто ничего не делал. Потом Ольга бросила куртку на асфальт и положила ладонь Маше на макушку. Плашмя, как кладут на стол. И повела

ладонь к себе, ровно, не поднимая и не опуская, пока ребро ладони не упёрлось ей в грудь, в ключицу.

Это было их старое. Года с шести Ольга мерила её так, по себе: «Вот когда до плеча достанешь — тогда серьги». Маша злилась, тянула шею. До плеча было ещё сантиметра три.

Ольга посмотрела на свою ладонь у ключицы. На то же место, что в понедельник.

— Не выросла, — сказала она и засмеялась. Смех вышел мокрый, неправильный. — Пять дней. Чего ты хотела.

И тогда обняла. Сразу всю, с одеялом, с головой. Маша стояла в её руках и не отвечала, но и не вырывалась, и он видел её лицо поверх Ольгиного плеча.

Она смотрела не на мать. Она смотрела через дорогу, на скорую, где Ковалёва сидела в проёме с сыном на руках. Мальчика трясло — Орлов видел даже отсюда. Мать прижимала его к себе и раскачивалась, и чем сильнее раскачивалась, тем сильнее его трясло.

— Мам, — сказала Маша Ольге в плечо. — Мам. Подожди.

Она высвободилась, наклонилась, подняла с асфальта синюю куртку, отряхнула. Повернулась к медсестре, которая сидела внутри скорой.

— Отдайте Ковалёву, пожалуйста. Он руки ободрал, когда падал. У него шок, его колотит. Одеялом не согреешь, надо, чтобы с рукавами.

Медсестра посмотрела на неё, на куртку, на Ольгу. Ольга стояла с пустыми руками.

— Это же твоя куртка, — сказала медсестра.

— Мне не холодно, — сказала Маша.

Медсестра взяла куртку и пошла через дорогу. Маша проследила, как куртку отдают Ковалёвой, как та, не понимая, натягивает её на сына, как синие рукава болтаются ниже его пальцев. Мальчика перестало трясти. Он посмотрел на рукав. Потом поднял голову и посмотрел сюда. Прямо на Машу.

Маша отвернулась первой.

— Вот, — сказала она. Себе, кажется.

Ольга подобрала с земли одеяло и снова набросила ей на плечи. Маша позволила.

Орлов взял край одеяла и подоткнул ей под подбородок. Потом, не думая, — пальцы сами — расстегнул и снова застегнул верхнюю пуговицу её летней куртки, которая и так была застёгнута. Она посмотрела на его пальцы. Он вспомнил понедельник: семь двадцать утра, школьный двор, он застёгивает ей молнию до горла, она закатывает глаза, а когда автобус трогается, он видит в окно, как она расстёгивает её до середины одним движением. Видит — и машет. Она не машет в ответ, потому что обижена за молнию.

Сейчас она не расстегнула.

* * *

В скорую пустили одного. Ольга посмотрела на него, он покачал головой, и Ольга села внутрь. Он поехал следом на машине. Савина подошла, когда он уже открыл дверь.

— Андрей. В больнице я с ней поговорю. Сама. Ты будешь рядом, но молча.

— Я пять дней молча.

— Я знаю, — сказала она. — Ты отец. Сейчас — только отец. Не опер.

— Я пять дней был отец.

— Тогда ещё немного побудь.

Он сел в машину. Руки на руле были ватные, и он подождал, пока пройдёт. В зеркале он увидел мост, автобус, Палыча на ступеньке. Палыч сидел всё в той же позе, уронив руки между колен, и рядом с ним никого не было.

* * *

В районной больнице им дали палату на троих, но две кровати стояли пустые: всех развели по разным. Перед дверью сидела молодая женщина в форме, лейтенант Ганиева из отдела

по делам несовершеннолетних, которую он знал по прошлогоднему делу о подростке с мопедом. Она кивнула ему виновато и подвинула стул, чтобы он прошёл.

Машу осматривали два часа. Терапевт, хирург, гинеколог — при этом слове Ольга стала белой, а Маша сказала спокойно: «Мам, всё правильно, так положено». Потом кровь. Медсестра затягивала жгут, а Маша сжала и разжала кулак раньше, чем ей сказали, и повернула руку локтевым сгибом к свету. Медсестра улыбнулась: «Опытная». Маша не улыбнулась в ответ. Она смотрела, как игла входит в вену, внимательно, не морщась, и, когда пробирка наполнилась, сказала: «Спасибо».

Орлов сидел в углу и смотрел. Он смотрел так же, как смотрел на всё последние восемнадцать лет: искал, что не так. Не синяки — синяков не было. Не следы связывания, инъекций, недоедания. Ничего этого не было. Она не похудела. Она не была грязной. Кожа на руках не огрубела. Пять суток назад она была здорова, и сейчас она была здорова, и всё, что врачи говорили вполголоса друг другу у двери, сводилось к этому.

Не так было что-то другое, и он не мог это назвать. Он собирал в голове: хвост. Ногти. «Мне не холодно». Палец по скуле. Взгляд с ботинок на лицо. «Так положено». «Спасибо».

Ничего из этого не было уликой. Всё это вместе было не его дочь — и его.

Савина пришла около двух. Посидела с Машей двадцать минут, при Ганиевой, при Ольге, при нём. Спрашивала мягко, медленно, как он сам учил молодых: имя, как себя чувствуешь, хочешь ли пить. Маша отвечала. Имя. Нормально. Да, спасибо. Когда Савина спросила, помнит ли она, что было в понедельник утром, Маша сказала: «Помню. Мы ехали в лагерь». Когда Савина спросила, что было потом, Маша посмотрела на отца, потом на мать, потом на Савину.

— Можно я пока не буду? — сказала она. — Я не отказываюсь. Я просто пока не буду.

Савина кивнула и закрыла блокнот.

В коридоре она сказала ему:

— Все так. Пятнадцать человек — так. «Потом», «не сейчас», «можно я не буду». Никто не плачет. Никто не просит к маме. Кроме Рожиной-младшей, а ей восемь.

— Их запугали.

— Возможно.

— Ты сама не веришь.

— Я пока ни во что не верю, — сказала Савина. — У меня рабочая версия, и она ещё работает.

Он хотел спросить про камеру. Мухин в машине сказал ему про камеру два слова, и Орлов не понял их, а переспрашивать не стал. Савина сказала первой:

— Не сегодня.

* * *

К вечеру Ольгу уговорили поехать домой и поспать хотя бы четыре часа. Она отказалась, потом согласилась, потом в дверях отказалась снова, и Маша сказала ей: «Мам, иди. Папа будет. Я никуда не денусь». И Ольга ушла, потому что Маша сказала это тоном, которому трудно возражать. Тонем старшей.

Он остался. Сел на стул у кровати.

Палата выходила окнами на запад, и солнце садилось прямо в стекло, рыжее, плоское. Маша лежала поверх одеяла, в больничной рубашке, на боку, лицом к нему. Не спала. Смотрела на его руки на коленях.

— Пап, — сказала она. — Какое сегодня?

— Суббота. Тринадцатое.

— А мы когда уехали?

— В понедельник. Восьмого.

Она помолчала.

— Сколько вы нас искали?

— Пять дней, — сказал он. — Пять суток. С собаками, с вертолётom. Реку всю прошли. Волонтёров было двести человек. Я на мосту стоял каждую ночь. Каждую.

Он сам не понял, зачем всё это перечислил. Как отчёт.

— Пять, — повторила Маша.

Она смотрела на него, и он видел, что она что-то считает. Губы не шевелились. Но он видел.

Потом она протянула руку и накрыла ладонью его руку на колене. Погладила. Медленно, два раза, от запястья к пальцам. И оставила ладонь лежать.

Он знал этот жест. Он сам так делал — на кухнях, в коридорах, в приёмных покоях. Садился напротив и клал руку на руку. Матерям. Жёнам. Один раз старику, у которого не было никого, кроме внука. Гладил вот так, два раза, и оставлял ладонь. А потом говорил.

Маша ничего не говорила.

Солнце ушло за крышу соседнего корпуса. Он сидел, не двигаясь, под её маленькой тёплой ладонью, и ждал.

Глава 3

Воскресенье, 14 сентября

Утром он купил тапочки.

Не потому, что тапочки были нужны в первую очередь. Просто аптека у больницы открылась в восемь, а хозяйственный напротив — в семь, и он стоял у его двери без пяти семь, и продавщица, пожилая, в синем халате, узнала его по фотографии из местного канала. Она ничего не сказала. Достала с полки тапочки тридцать шестого размера, серые, с помпонами, и положила на прилавок. Потом добавила зубную щётку, пасту, расчёску, мыло в мыльнице. Денег не взяла. Он положил их на прилавок, она сдвинула их обратно к нему, и он ушёл, оставив их там, где они лежали.

Список у него был в телефоне. Он составил его ночью, когда не спал: тапочки, щётка, паста, расчёска, бельё, носки, зарядка, книга, шоколад, вода без газа, печенье, влажные салфетки, блокнот. Пункты шли не по важности. Он писал их, как пишут опись на месте происшествия: всё подряд, что видишь, разбираться потом.

Он купил всё к девяти. Зарядку не купил, потому что телефон Маши лежал в описи вещественных доказательств вместе с рюкзаком и всем, что было в автобусе, и заряжать было нечего.

* * *

У больницы стояли две машины с логотипами. Областной канал и ещё какой-то, с синей полосой. Девушка с микрофоном курила у крыльца, оператор пил кофе из термоса. Увидев Орлова, девушка выбросила сигарету.

— Андрей Николаевич? Пару слов, буквально...

— Нет.

— Как себя чувствует ваша дочь?

Он остановился. Посмотрел на оператора. Оператор опустил камеру.

— У вас дети есть? — спросил Орлов у девушки.

— Это не имеет...

— Не снимайте окна, — сказал он. — Палаты на втором этаже окнами сюда. Если я увижу в эфире хоть одно окно, я узнаю, чьё оно, и я приду.

Девушка отступила на шаг, хотя он к ней не шагал.

Наверху, в коридоре детского отделения, Ганиева уже сидела на своём стуле с бумажным стаканчиком. Вид у неё был ночной.

— Не уходили?

— Сменилась в шесть, вернулась в восемь. Дома не спится. — Она посмотрела на его пакеты. — Тапочки?

— Тапочки.

— С помпонами, — сказала Ганиева и почему-то отвела глаза.

* * *

Маша не спала. Сидела на кровати, поджав ноги, в больничной рубашке, и смотрела в окно. Ольга сидела рядом на стуле. Когда он вошёл, Ольга обернулась, и он сразу понял по её лицу, что она здесь уже давно, с самого открытия, а может, и не уходила.

— Я в шесть пришла, — сказала она, не дожидаясь вопроса. — Меня пустили.

— Пап. — Маша развернулась к нему. — Ты завтракал?

— Потом.

— Значит, нет.

Он вывалил пакеты на свободную кровать. Тапочки, щётка, паста, расчёска. Маша смотрела, как он выкладывает, и он вдруг увидел, что выкладывает в том порядке, в каком покупал, ровным рядом, слева направо, и остановился.

Маша взяла тапочки. Повертела. Потрогала помпон.

— Тридцать шестой, — сказала она.

— Твой.

— Мой, — согласилась она. Надела. Пошевелила пальцами внутри. Посмотрела на свои ноги в серых тапочках с помпонами, как смотрят на что-то совсем новое.

Потом подняла глаза на Ольгу:

— Мам, тебе их видно? Помпоны?

— Видно, — сказала Ольга.

— Смешные, — сказала Маша и не улыбнулась.

* * *

Завтрак принесли в половине десятого: каша на воде, кусок хлеба, масло в фольге, какао. Маша ела медленно. Он видел, как ест Ольга, когда нервничает: быстро, не глядя. Маша ела так, будто каждая ложка — отдельное дело. Доела кашу дочиста, провела ложкой по краю тарелки. Хлеб не намазала, а разломил пополам и съела одну половину, вторую положила на салфетку и завернула.

Потом собрала крошки с подноса в ладонь. Аккуратно, ребром другой ладони, все до одной. И высыпала в рот.

Ольга смотрела на это и молчала. Он тоже молчал. Медсестра, пришедшая за подносом, ничего не заметила.

— Хлеб оставишь? — спросила медсестра.

— Можно я его оставлю, — сказала Маша. Без вопросительной интонации.

— Оставь, конечно.

Маша положила свёрток с хлебом в тумбочку, в ящик. Закрыла ящик. Потом открыла и посмотрела, на месте ли. Закрыла снова.

* * *

В одиннадцать его позвала Савина. Не в палату — в кабинет старшей медсестры, который она заняла под себя на эти дни. На столе лежали стопки бумаг, ноутбук, два телефона. Пахло лекарствами и растворимым кофе.

— Садись.

Он сел.

— Я тебя отстраняю от материалов, — сказала она. — Официально — с сегодняшнего дня. Ты родственник потерпевшей. Не могу иначе.

— Я понимаю.

— Ты не будешь ни на опросах, ни на осмотрах. Ты не будешь видеть протоколы. Ты не будешь звонить моим людям и спрашивать. Ганиевой тоже.

— Понимаю.

— Андрей.

— Я сказал — понимаю.

Савина посмотрела на него. Он знал этот её взгляд, они работали вместе девять лет: так она смотрела на свидетелей, которые говорят правду, но не всю.

— Ты будешь ходить вокруг, — сказала она. — Я знаю. Только не мешай. Если узнаешь что-то сам — приходишь ко мне. Не к Колесникову, не к Мухину, не к областным. Ко мне.

— Хорошо.

— И ещё. Они разговаривают неохотно. Все. Но то, что говорят, они говорят не как дети. Ты видел.

— Видел.

— Мне надо знать, какой она была. До понедельника. Не сейчас — потом, когда будешь готов. Привычки. Слова. Что любила, чего боялась. Как с вами разговаривала. Ты опер, ты понимаешь, что мне надо.

— Понимаю, — сказал он в четвёртый раз.

Он вышел из кабинета и прошёл по коридору до лестницы, и только на лестнице понял, что Савина сейчас попросила его составить на собственную дочь описание примет.

* * *

У лестницы стояла Лена Сорокина, дочь Палыча, в синей форме фельдшера, с сумкой через плечо. Её он знал: два года назад она приезжала на ножевое в Заречном, перевязывала, держалась хорошо. Двадцать шесть лет, а по лицу — пять суток без сна, как у него.

— Андрей Николаевич. Как Маша?

— Нормально. Ест. Как отец?

Лена пожала плечами. Губы у неё были сжаты так, что побелели.

— Его во взрослую терапию положили. Давление, пульс, всё в норме. Анализы в норме.

— Она помолчала. — Он со мной не говорит.

— Совсем?

— Говорит «да», «нет», «спасибо, Лена». Вчера я к нему пришла, он сидел на кровати, я села рядом. Он взял меня за руку и смотрел на меня. Час. Я засекала. Ровно час смотрел и молчал. Потом сказал: «Ты выросла». — Она засмеялась, коротко и зло. — Пять дней, Андрей Николаевич. Я выросла за пять дней.

Он не знал, что ответить.

— Он всегда такой был, — сказала Лена. — Молчун. Но он смотрел не как он. Понимаете?

— Понимаю, — сказал Орлов.

Это было правдой.

* * *

В коридоре у сестринского поста к двум часам собрались родители. Никто их не звал; просто к двум часам там оказались все, кого пускали в отделение, и те, кого не пускали, но кто прошёл. Мать Насти и Ксении Роциных, совсем молодая, в спортивном костюме, с красными глазами. Отец Сони и Стёпы Литвиновых, высокий, лысеющий, всё время трогавший нагрудный карман, где у него лежали сигареты. Мать Гриши Ветрова, тонкая, с аккуратной причёской, в светлом плаще, который она так и не сняла. Ковалёвы — она с ребёнком на руках, хотя Серёже полагалась своя кровать, он, отец, рядом, бледный, с пакетом из детского магазина.

Они разговаривали вполголоса. Никто не говорил главного. Говорили мелочи.

— Мой со мной за руку поздоровался, — сказал отец Литвиновых. Сказал так, как рассказывают анекдот, в который сами не верят. — Подошёл и руку протянул. Как на работе.

— Моя спросила, как у меня давление, — сказала мать Роциных. — Я ей говорю: «Настюш, ты чего?» А она: «Ты красная». Я говорю: «Я плакала». Она: «Всё равно померь».

Мать Ветрова молчала. Потом сказала, ни к кому не обращаясь:

— Гриша всегда был серьёзный мальчик. Он всегда так.

Никто ей не ответил. Ковалёва покачала сына. Серёжа, в синей Машиной куртке — она её так и не сняла с него, отметил Орлов, — сидел у матери на руках прямо, неподвижно. Смотрел не на взрослых, а вдоль коридора, туда, где за углом была Машина палата.

— Он ничего не говорит, — сказала Ковалёва, хотя её не спрашивали. — Он раньше всё время болтал. Ему три года, он рот не закрывал. А сейчас только «да», «нет» и «сам». И смотрит. Вот так смотрит.

Серёжа повернул голову к матери. Посмотрел ей в лицо. Потом отвёл глаза — вниз и в сторону, как отводят взрослые мужчины, когда им неловко за женщину рядом.

Ковалёва заплакала. Беззвучно, как плачут в очередях.

Орлов прошёл мимо них к палате.

* * *

Ольгу он увёз в девять вечера. Маша сама выставила их: «Вам надо спать. Вы оба. Мне тут нормально, тут Ганиева и медсестра». Сказала: «Ганиева». Не «тётя полицейская», не «та женщина». По фамилии.

Ольга целовала её в макушку долго, как перед дорогой. Маша терпела, потом мягко отвела её руки и сказала:

— Мам. Иди. Я завтра буду тут же.

Ольга пошла. В дверях обернулась. Маша сидела на кровати в серых тапочках, сложив руки на коленях, и смотрела на неё. Не помахала.

* * *

Дома было слишком тихо. За пять суток квартира стала другой: на столе в кухне горой лежали распечатки ориентировок, карта района, исчерченная маркерами, пустые стаканы, пепельница, хотя никто из них не курил, — пепельницу принёс отец Литвиновых в среду и забыл. Ольга посмотрела на всё это и сказала: «Завтра». И пошла в душ.

Он сидел на кухне и смотрел на карту. Красным маркером были обведены квадраты прочёсывания. Синим — река. Чёрным крестом — мост. Крест он поставил сам, в понедельник вечером, так сильно надавив, что маркер прорвал бумагу.

Он сложил карту вчетверо и убрал в ящик.

Потом прошёл по коридору и остановился у Машиной двери. Дверь была закрыта. Пять дней она была закрыта: Ольга не заходила туда и ему не давала. Во вторник утром он хотел взять оттуда Машину расчёску для кинологов, и Ольга встала в дверях и сказала: «Нет». Расчёску в итоге взяли из ванной.

Он открыл. Включил свет.

Кровать застелена. На столе — учебники стопкой, которую Маша сложила в воскресенье вечером перед лагерем, хотя в лагерь учебники не брала. На спинке стула — домашняя кофта. На подоконнике — горшок с алоэ, который она полила в воскресенье и попросила его полить в среду. Он не полил. Земля в горшке была сухая, светлая, потрескавшаяся у края.

Он принёс из кухни стакан воды и полил.

Потом выключил свет и закрыл дверь.

* * *

Ольга лежала на своей половине, лицом к стене. Он лёг на свою. Пять ночей он не лежал на этой кровати. Матрас был чужой, мягкий, проваливающийся. Он лежал на спине и смотрел в потолок, на полосу от уличного фонаря.

— Андрюш, — сказала Ольга. Не поворачиваясь.

— Да.

— Она меня жалеет.

Он не ответил.

— Ты видел? — Ольга повернулась на спину. В темноте он видел её профиль. — Она на меня смотрит, как я на бабушку смотрела. В последний год. Когда бабушка путала, где ложки лежат, а я ей не говорила, что путает. Просто перекладывала потом. Вот так она на меня смотрит. Как будто я перепутала, где ложки, а она не говорит.

— Она устала. Её пять дней...

— Я знаю, что её пять дней. — Ольга помолчала. — Она хлеб в тумбочку прятала.

— Видел.

— А крошки...

— Видел, Оль.

— Её морили голодом? Ты же видел, её не морили. Врач сказал — не похудела. Ни грамма. Я спрашивала.

— Не морили, — сказал он.

— Тогда почему крошки?

Он не знал. Он думал об этом весь день, в промежутках между тапочками, Савиной, Леной и коридором. Если бы это была чужая девочка, а он — опер на чужом деле, он бы записал: хлеб, крошки, «можно я его оставлю». Записал бы, подчеркнул и поставил знак вопроса. И поехал бы искать место, где держат детей и кормят так, что они собирают крошки. Подвал. Гараж. Дачу. Он бы искал.

Он и будет искать. Не сегодня.

— Андрюш.

— Да.

Ольга молчала долго. Он слышал, как она дышит. Неровно, через раз.

— Я её мерила, — сказала она. — Там, на мосту. Рукой. Она до ключицы. Как в понедельник. Значит, это она. Правильно?

— Правильно.

— Это же она.

— Она, — сказал он.

Он хотел рассказать ей про палец. Про то, как Маша потёрла переносицу костяшкой, и он узнал её по этому, а не по лицу. Он хотел рассказать, потому что это было хорошее, это было доказательство, Ольге бы стало легче.

И про руку на его руке он хотел рассказать. Про то, как она погладила его, два раза, от запястья к пальцам. Про то, где он видел этот жест раньше и кто его делал.

Он не рассказал ни про то, ни про другое. Он лежал и молчал.

Ольга встала. Он слышал, как её босые ноги прошли по полу к двери. Как она нажала на ручку. Дверь спальни открылась — не настежь, а на ладонь, на ту щель, на которую она открывала её последние двенадцать лет. Сначала — чтобы услышать, если Маша заплачет в кровати. Потом — если позовёт ночью. Потом — уже без причины, по привычке. Маша давно не звала по ночам. Дверь всё равно стояла открытой на ладонь.

Ольга постояла у щели. В коридоре было темно и тихо. Из-за двери напротив не доносилось ничего, и ничего не должно было доноситься, потому что за ней никого не было.

Она не закрыла дверь. Вернулась, легла, повернулась к стене.

Он смотрел на щель, пока не начало светать.

Глава 4

Воскресенье, 14 сентября

Справку для области требовали к восьми утра понедельника. Хронология, принятые меры, результат. Две страницы, не больше.

Савина села за неё в десять вечера, когда в отделе остались только дежурный и уборщица, и к одиннадцати поняла, что двух страниц не будет. Не потому, что мер было много. Мер было много, но они укладывались в таблицу. Не укладывалось другое, и она полчаса просидела над пустым листом, прежде чем поняла, что именно.

Пять дней назад она писала эти документы, ничего не зная о конце. Теперь конец был известен, и каждый документ читался иначе. Как письмо, которое отправил человек, уже умерший к моменту, когда его вскрыли. Только наоборот.

Она разложила папку на столе по дням.

* * *

Понедельник, 8 сентября

Из рапорта оперативного дежурного. 10:17. Поступило сообщение от директора МБОУ СОШ № 2 о том, что школьный автобус ПАЗ, г/н ..., вышедший в 07:30 от здания школы в ДОЛ «Салют» с 14 несовершеннолетними, сопровождающим педагогом и водителем, к месту назначения не прибыл. Связь с водителем и педагогом отсутствует.

В лагере их ждали к половине девятого. В девять начальник лагеря позвонил водителю — «абонент недоступен». В девять двадцать — учительнице: недоступна. В девять сорок — в школу. Директор позвонила водителю, учительнице, трем детям, чьи номера были в журнале. Тридцать пять минут она звонила, прежде чем набрать сто двенадцать.

Савина не винила её. Тридцать пять минут — нормальное время, чтобы поверить, что у всех шестнадцати сели телефоны. На лесной дороге связь плохая, это все знают.

Связь на лесной дороге была плохая. Это подтвердил оператор. А ещё оператор подтвердил, что все телефоны — у кого какой — ушли из сети в одну минуту: 07:52. Не постепенно, не по мере продвижения в мёртвую зону. В одну минуту. И что мёртвой зоны на четырнадцатом километре нет: вышка на холме над Заречным добивает до самого моста, до поворота к лагерю.

Справка ООО «...» (мониторинг транспорта). Последняя отметка бортового навигационного терминала ГЛОНАСС: 08.09.2025 07:52:10. Координаты соответствуют 14,3 км автодороги ... Скорость 38 км/ч. Направление — на ДОЛ «Салют». Последующих отметок до момента составления справки нет.

Четырнадцать и три. Триста метров за мостом. Дорога там уходит в плавный поворот, за поворотом — прямой участок через сосняк, потом развилка на старую лесовозную дорогу, потом ещё четыре километра до лагеря.

Камера на мосту снимала раз в пять секунд. В понедельник утром шёл дождь, мелкий и плотный, туман стоял над рекой, и на кадрах было серо, как в сумерках, хотя давно рассвело. Савина нашла распечатки и разложила их в ряд.

07:51:25. Жёлтое пятно в левом краю кадра, на подъезде к мосту. Фары включены.

07:51:30. Автобус на мосту. Через боковые окна — светлые точки лиц. Ничего не различить, только то, что они там есть.

07:51:35. Автобус на съезде с моста, справа.

07:51:40. Пустой мост. Дождь. Красной точки задних габаритов уже нет — её на этом снимке и не было, Савина просто помнила, где её не хватает.

Она смотрела эти четыре кадра в понедельник, во вторник, в среду. В четверг ночью — по одному, увеличивая каждый, пока не начало рябить в глазах. Это были последние четыре

снимка, на которых они были. Потом их не было пять суток. Она знала каждое пятно на каждом стекле.

Справка Самарского ЦГМС по запросу. 08.09.2025, метеостанция ... Утро: облачно, осадки в виде дождя (слабый, умеренный), видимость 1–2 км, у водоёмов туман до 500 м. Температура воздуха 11–12 °С. Ветер северо-западный 3–5 м/с.

В двенадцать сорок у моста была первая машина родителей. Орлов. Он приехал не по вызову и не потому, что ему сказали в отделе. Ему позвонила жена: школа обзванивала семьи. Он был в Заречном на квартирной краже, бросил её, бросил стажёра и приехал на четырнадцатый километр. Патрульная стояла там уже второй час.

Савина приехала в час. Он стоял на мосту, без куртки, под дождём, и смотрел на воду.

Она тогда сказала ему: «Иди в машину». Он сказал: «Сейчас». И не пошёл.

В три часа ночи у неё зазвонил телефон.

— Тихо, — сказал Орлов.

— Знаю, — сказала она.

Так потом было каждую ночь.

* * *

Вторник, 9 сентября

План поисковых мероприятий. Квадраты 1–14 (лесной массив вдоль автодороги, полосой по 2 км в каждую сторону от трассы, от 11-го до 19-го км). Привлечены: ПСО «...» (68 чел.), сотрудники МВД (24 чел.), МЧС (16 чел.), кинологические расчёты (3).

К вечеру волонтёров было больше двухсот. Они приезжали из Самары, Тольятти, Сызрани, на своих машинах, в своих куртках, с термосами и картами в планшетах. Таня, координатор, стояла у раскладного стола на опушке и раздавала квадраты охрипшим голосом. Её отряд нашёл за прошлый год сорок три человека. Тридцать девять живыми.

Штаб поставили на поляне у развилки, в трёх километрах за мостом. Две палатки, генератор, полевая кухня МЧС. На доске, прибитой к сосне, — шестнадцать фотографий.

Савина помнила, как их вешали. Мать Гриши Ветрова принесла снимок в рамке, хотя просили просто распечатку. Аккуратная женщина в светлом плаще, она вынула фотографию из рамки сама, рамку забрала, а снимок отдала Тане и стояла рядом, пока его прикалывали кнопкой. Попросила: «Поровнее». Таня переколола.

Кинолог с первой собакой начал от моста. Собаке дали понюхать Машину расчёску из ванной, потом шапку Лёши Гарина, потом рукавичку Серёжи Ковалёва. Собака взяла что-то у самого моста — то ли воздух, то ли асфальт, — прошла по обочине метров двести и села.

Кинолог постоял над ней, потом сел рядом на корточки. Гладил её по голове и молчал. Савина подошла.

— Что?

— Ничего, — сказал кинолог. — Не было их тут. Не выходили. По земле не ходили.

— А по асфальту?

— По асфальту она бы сказала. — Он гладил собаку. — Она говорит, что их тут нет.

Вторая собака дала то же самое. Третья, вечером, — то же.

...в ходе осмотра участка автодороги с 13-го по 15-й км следов ДТП, тормозного пути, осколков, лакокрасочного покрытия, следов съезда транспортного средства с проезжей части не обнаружено.

Ковалёва — мать Серёжи — во вторник утром вышла на мост, посмотрела вниз, на реку, и закричала. Не заплакала, а именно закричала, долго, на одной ноте, и её увели в палатку МЧС. С этого дня на штабе перестали говорить при родителях «река». Говорили «водный участок», «прибрежная зона». Как будто от слова что-то менялось.

Ночью дождь кончился. Орлов остался на мосту.

* * *

Среда, 10 сентября

Ходатайство о привлечении воздушного судна с тепловизионным оборудованием (ГУ МЧС России по Самарской области). Удовлетворено.

Вертолёт пришёл в два часа дня. Родители высыпали на поляну и смотрели вверх. Савина видела их лица: впервые за двое суток на них было что-то кроме страха. Вертолёт — это было по-настоящему. Его прислали из области. Значит, всерьёз, значит, найдут.

Он ходил над лесом до темноты, потом ещё два часа в темноте, с тепловизором. Нашёл лосиху с лосёнком, двух кабанов, костёр охотников на дальнем кордоне. Охотников проверили. Охотники были пьяные и ничего не видели с прошлой субботы.

Дроны волонтёров работали параллельно — шесть машин, у каждой свой квадрат. К вечеру у Тани был ноутбук, полный снимков леса сверху: сосны, сосны, просека, болотце, сосны. Двое ребят из отряда сидели до часу ночи и листали кадры, увеличивая каждое светлое пятно.

На телефон дежурной части в этот день позвонили сорок раз. Восемь раз автобус «видели». Женщина из Кошек позвонила в первый раз — в среду вечером. Она сказала, что дети в шахте под старым элеватором. Что она это видит, ей было знамение, она всю ночь не спала. Элеватор у старой железнодорожной ветки проверили в четверг утром: два наряда, фонари. Голуби, битое стекло, пустые бутылки. Шахты под элеватором не было никогда.

Женщина звонила потом каждый вечер. Савина распорядилась записывать её звонки и не реагировать.

Ночью снова пошёл дождь. В три часа Савина сидела в машине на штабной поляне и слушала, как он стучит по крыше. Телефон завибрировал. Орлов.

— Тихо.

— Знаю.

Больше они ничего не сказали.

* * *

Четверг, 11 сентября

План мероприятий на водном участке. Привлечены водолазы ГУ МЧС (2 расчёта), лодки ПСО (4 ед.). Протяжённость обследуемого участка — от моста на 14-м км вниз по течению до плотины у с. ..., 9 км.

В четверг утром поиск переложили на реку.

Это было решение Савиной. Она приняла его в среду ночью, после вертолёта, и утром объявила на штабе, и видела, как люди понимают, что оно значит. Никто не сказал этого вслух. Лес прочесали дважды, собаки ничего не взяли, вертолёт ничего не нашёл. Оставалась вода. Автобус мог уйти в воду — теоретически, если бы съехал с моста, но съехать с моста было негде: отбойники целые, перила целые. Река в самом глубоком месте у моста — три метра. Автобус в трёх метрах воды видно с моста.

Водолазы прошли у моста за два часа. Ничего. Ушли вниз по течению.

Пост на мосту сняли в обед: людей не хватало, все нужны на реке. Мухин спросил Савину, оставлять ли кого-нибудь на ночь. Она подумала и сказала: «Там будет Орлов».

Дождь шёл весь день, плотный, холодный. К вечеру река поднялась на двадцать сантиметров, и водолазам пришлось прекратить работу до утра.

В шесть вечера в школе собрали родителей. Савина говорила полчаса: что сделано, что делается, что будет завтра. Отец Литвиновых встал посреди её доклада и спросил, почему автобус до сих пор не найден, если он не иголка. Она ответила. Он спросил ещё раз, громче. Она ответила ещё раз. Тогда он сел, закрыл лицо руками и сидел так до конца, а дочь Палыча, Лена, которая пришла прямо из леса, в мокрых штанах до колен, положила ему руку на спину.

Лена искала отца все пять дней. Не на штабе, а в лесу, со своим отрядом. Брала самые дальние квадраты. Во вторник Таня запретила ей выходить, потому что Лена не спала тридцать часов. Лена сказала: «Я фельдшер, я знаю, сколько мне можно не спать», — и ушла в квадрат.

Ольга Орлова на собрании не была. Ольга со вторника стояла на штабе у полевой кухни, наливала волонтерам чай из огромного зелёного термоса и раздавала бутерброды, которые сама же и резала. Никто её об этом не просил. Савина видела, как она режет хлеб: ровными ломтями, один в один, очень быстро, не глядя на нож.

* * *

Пятница, 12 сентября

Распоряжение о продолжении поисковых мероприятий в режиме...

Савина не дописала строку тогда, в пятницу. Не дописала и сейчас. Режим назывался «поиск в формате поисковых работ по обнаружению пострадавших без признаков жизни». Формулировка была из инструкции. Сама инструкция была правильная. Но это слово — «без признаков» — Савина в пятницу вечером так и не смогла вписать в распоряжение. Подписала его в общем виде: «в расширенном формате».

На пятый день поиск меняется. Его не сворачивают — никогда не сворачивают на пятый, — но в нём меняется что-то, чего не напишешь в плане. Волонтеры из других городов начинают уезжать: у них работа, дети, понедельник. Волонтеры, которые остаются, говорят тише. Родители перестают спрашивать «когда» и спрашивают «что ещё можно сделать». Это значит — ничего.

В пятницу утром мать Насти и Ксении Роциных пришла на штаб с распечатанной фотографией и попросила повесить её на доску рядом с официальной. На фотографии обе сестры были вместе, обнявшись, на каком-то дне рождения. Таня повесила. Через час кто-то из родителей, Савина не видела кто, принёс ещё одну. Потом ещё. К вечеру на доске было уже не шестнадцать снимков, а сорок. Дети на море, дети с котами, дети в школьной форме на линейке. Вера Павловна с выпускниками. Палыч у автобуса, в кепке, с тем же квадратным лицом.

Мать Гриши Ветрова не принесла второй фотографии. Она ходила по штабу и складывала в аккуратные стопки листовки, которые никто уже не раздавал.

Дождь кончился к полудню. Небо очистилось, стало высоким и холодным. Ночью на открытых местах был заморозок, первый за осень: трава на штабной поляне утром стояла белая, хрустящая. Орлов в ту ночь позвонил в три, как всегда, и сказал не «тихо», а:

— Холодно им.

Она помолчала. Потом сказала, чтобы в шесть он ехал домой. Что это не просьба.

Он отключился, не ответив.

* * *

Она подняла голову от стола. Было без двадцати час. В коридоре гудела лампа, которую давно собирались поменять. Уборщица ушла. Где-то на первом этаже дежурный смотрел футбол с выключенным звуком: она видела отсвет экрана на стене, когда проходила мимо.

На столе лежала карта района, та же, что на штабе, только чистая. Она провела по ней пальцем от моста до точки последней отметки ГЛОНАСС. Взяла линейку. Триста метров. В масштабе карты — шесть миллиметров.

Пять суток. Двести человек. Сорок квадратных километров леса, девять километров реки, вертолёт, шесть дронов, три собаки. А последняя известная точка была в шести миллиметрах от креста, который Орлов в понедельник прорвал маркером на своей карте. Он стоял там каждую ночь. Пять ночей подряд он стоял в трёхстах метрах.

Она села обратно и написала справку. Получилось три страницы: хронология, меры, силы и средства. В конце она написала: «13.09.2025 в 07:14 транспортное средство с 16 лицами обнаружено на 14-м км автодороги... Местонахождение несовершеннолетних и сопровождающих лиц в период с 08.09.2025 по 13.09.2025 устанавливается».

Перечитала. Исправила «устанавливается» на «не установлено». Потом вернула обратно. Справка для области должна была заканчиваться глаголом в настоящем времени.

Потом она открыла свою рабочую тетрадь — не протокол, не справку, свою — на чистой странице и написала сверху:

Рабочая версия: удержание в неустановленном месте. Пять суток. Организатор(ы) знали: марирут, время, камеру, ГЛОНАСС, режим поста. Транспортное средство — укрытие, мойка. Возврат — на исходную точку. Цель — ?

Подумала и подчеркнула вопросительный знак.

Ниже, отдельно, она написала: «*Не объясняет:*»

И первой строкой:

Камера. 07:14:05 / 07:14:10. Экспертиза исходных файлов назначена.

Второй:

Анализы (предварительно, все 16): седативных и наркотических веществ не выявлено. Следов связывания, инъекций, недоедания — нет.

Без седативных шестнадцать человек пять суток не держат. Без связывания — тоже. Значит, держали по-другому. Угрозой. Обманом. Значит, кто-то говорил с ними пять суток и добился того, что они вышли из автобуса молча и пошли по разным машинам, не держась за руки. Модель усложнялась, но держалась. Модели всегда сначала усложняются.

Она написала третьей строкой:

Коренёва — год.

Потом поставила под этим черту и оставила лист пустым до конца страницы.

Без пяти три телефон лежал рядом с тетрадью экраном вверх. Она посмотрела на него. В три он не зазвонил. Мост на четырнадцатом километре стоял пустой, и ни у кого больше не было причины стоять на нём ночью.

Она выключила лампу и ещё долго сидела в темноте, пока не поняла, что ждёт звонка.

Глава 5

Четверг, 18 сентября

Савина приехала в больницу в половине восьмого, раньше, чем договаривалась с психологом, потому что хотела посмотреть на отделение до того, как оно проснётся.

Детское отделение просыпалось в семь. К половине восьмого по коридору уже катили тележку с градусниками, из процедурной пахло спиртом, а у сестринского поста стоял дежурный педиатр, молодой, с красными от бессонницы глазами, и писал в листе назначений. Медсестра рядом раскладывала по стаканчикам утренние таблетки.

Савина встала у окна в конце коридора, в стороне, где её не было видно с поста. Она так делала на любом месте происшествия: сначала постоять, потом спрашивать.

Из дальней палаты вышла Маша Орлова. В больничном халате поверх рубашки, в серых тапочках с помпонами. Волосы туго собраны. Она шла к умывальной и, проходя мимо поста, замедлилась. Не остановилась — замедлилась, как замедляются у витрины. Посмотрела на лист, в котором писал врач. Прошла ещё два шага.

Вернулась.

— Извините, — сказала она. — У Савельева вес не тот.

Врач поднял голову. Посмотрел на неё сверху вниз, не сразу понимая, откуда голос.

— Что?

— Вы написали тридцать восемь. Он двадцать восемь. Ему десять лет, он маленький. — Она показала пальцем на строчку, не касаясь листа. — Посмотрите в карте приёмного, его в субботу взвешивали.

Врач посмотрел на лист. Потом на неё. Потом взял со стойки карту, полистал. Савина видела, как у него меняется лицо: от раздражения к чему-то, что он не успел спрятать.

— Двадцать восемь, — сказал он медсестре. — Переделай, Галь. Я с приёмного переписал, у них там...

Он не договорил. Медсестра забрала один из стаканчиков и стала пересчитывать.

— Спасибо, — сказал врач Маше. Неуверенно.

— Пожалуйста, — сказала Маша. — У него с ночи температура?

— Тридцать восемь и два.

— Горло смотрели?

Врач открыл рот и закрыл. Маша кивнула и пошла к умывальной.

Савина подошла к посту, когда за девочкой закрылась дверь.

— Галина... простите, как вас?

— Петровна.

— Галина Петровна. Запишите, пожалуйста, что сейчас было. Время, что сказала, что вы исправили. Мне для дела.

Медсестра посмотрела на неё, на врача. Врач всё ещё держал карту открытой.

— Она по почерку прочла, — сказал он. — Вверх ногами. Я так пишу, что сам не всегда...

— Запишите, — повторила Савина.

* * *

Беседа была назначена на два. Психолог, Лаптева, женщина за пятьдесят с мягким тихим голосом, пришла заранее и переставила мебель в ординаторской так, чтобы никто ни на кого не смотрел через стол: три стула полукругом, четвёртый сбоку, низкий столик с водой и печеньем. Ольга Орлова села на четвёртый. Её позвали как законного представителя, и она пришла в пиджаке, как на родительское собрание, и держала сумку на коленях обеими руками.

Маша вошла, оглядела комнату и села на тот стул, который стоял ближе к окну. Не на тот, который ей приготовили.

Лаптева начала издали. Как спится. Что снится. Не болит ли что. Маша отвечала коротко и вежливо: нормально, ничего, нет. Потом Лаптева спросила, что она помнит про понедельник, и Маша сказала: «Помню. Мы ехали в лагерь. Шёл дождь». Лаптева спросила, что было потом.

Маша посмотрела на мать. Ольга сидела очень прямо.

— Мам, — сказала Маша. — Ты можешь выйти, если захочешь. Это ничего.

— Я останусь, — сказала Ольга.

— Хорошо. — Маша повернулась к Савиной. Не к психологу — к ней. — Вы ведь уже говорили с Гариным.

— Говорила.

— Тогда вы знаете, что я скажу.

— Я хочу услышать от тебя.

Маша сидела, положив руки на колени ладонями вниз. Савина видела такие руки на допросах у людей, которые давно решили, что скажут, и теперь просто ждут своей очереди.

— Мы были там тридцать семь лет, — сказала Маша. — Примерно. Я понимаю, как это звучит.

Ольга не пошевелилась. Только сумка у неё на коленях чуть сдвинулась, и она поправила её.

— Где — там? — спросила Савина.

— Я не знаю, где. Мы так и не узнали. Лес похожий. Река похожая. Солнце другое. Там жили люди до нас. Их не было, когда мы пришли. Остались дома. Вещи.

— Как вы считали годы?

— Сначала зарубками. Потом Вера Павловна сделала календарь. Потом я вела.

— Ты вела календарь.

— Я много чего вела.

Лаптева мягко вмешалась:

— Маша, а сколько тебе лет?

Пауза. Не долгая. Секунды три. Савина смотрела на девочку и видела, как та выбирает, и видела, что выбирает она не ответ, а то, какой ответ будет правильным в этой комнате.

— Двенадцать, — сказала Маша.

Лаптева кивнула и что-то записала.

— Остальные скажут то же самое, — сказала Маша Савиной. — Не потому, что мы договорились. Вы нас развели в субботу по разным машинам. Я видела. Это правильно.

— Почему ты думаешь, что я так подумаю? Что вы договорились?

— Потому что я бы так подумала, — сказала Маша.

Ольга кашлянула. Коротко, в кулак. Маша не обернулась.

— Хорошо, — сказала Савина. — Если вас там было много лет. Почему вы вернулись все вместе? Все. В один момент.

— Было написано, — сказала Маша.

— Что было написано?

— Что уходить надо всем.

— Где написано?

Маша подняла правую руку и потёрла переносицу согнутым пальцем. Костяшкой. Два раза, коротко. И опустила руку обратно на колено.

Савина отметила жест и не придавала ему значения. Привычка, тик, способ потянуть время. У половины свидетелей такие есть.

Ольга перестала дышать. Это было видно: грудь под пиджаком остановилась на вдохе. Потом Ольга выдохнула, очень медленно, через нос, и опустила глаза на сумку.

Савина отметила и это.

— Там был журнал, — сказала Маша. — От тех, кто жил до нас. Они оставили записи.
— Кто — они?
— Геологи. Партия. Одиннадцать человек.
— Откуда геологи?
— Отсюда, — сказала Маша. — Наверное. Пятьдесят первый год. Вы можете проверить.

Должно быть дело.

Савина записала: «Север-7»? — название Маша не произносила, но Гарин накануне произнёс, и Савина уже отправила запрос в областной архив. Ответа пока не было.

— Маша, где сейчас этот журнал?

— Там, — сказала Маша. — Его никто не взял.

Она сказала это просто. Так говорят: ключи остались дома.

— Я устала, — сказала Маша. — Можно на сегодня всё?

Лаптева посмотрела на Савину. Савина закрыла блокнот.

В дверях Маша остановилась возле матери. Ольга сидела всё так же, с сумкой на коленях, и смотрела перед собой. Маша положила ей руку на плечо. Поддержала. Ольга не подняла головы.

— Мам, — сказала Маша. — Я к себе. Ты приходи потом.

И ушла.

Ольга сидела ещё минуты две. Потом встала, сказала «спасибо» неизвестно кому и вышла, не закрыв за собой дверь.

* * *

В коридоре Савину перехватила Ковалёва.

Она ждала, видимо, давно: сидела на банкетке у стены с сыном на коленях и встала, как только Савина вышла из ординаторской. Мальчик был в синей куртке, той самой. Рукава подвернули на три оборота.

— Ирина Сергеевна. Можно вас на минутку?

— Да.

— Он всё время... — Ковалёва замолчала, подбирая слова. Ей было тридцать, а выглядела она за эти дни на сорок. — Он всё время говорит про девочку. Про Орлову. Он её зовёт. Вчера весь вечер. Сегодня утром проснулся — и опять. Тянет меня туда, к её палате. Мне сказали, что пока нельзя, что вы разводите. Но он...

Савина посмотрела на мальчика. Серёжа смотрел на неё. Спокойно, внимательно, долго.

— Как он её зовёт?

— Маша, — сказала Ковалёва. — «Маша». Он «ш» не выговаривает ещё. Говорит: «Маша, Маша».

Мальчик поджал губы. Так поджимают губы, когда при тебе повторяют твою ошибку.

Первичные сведения были получены, подробные беседы с обоими шли. Савина подумала, что ничего не потеряет, если увидит их вместе. Что, может быть, наоборот.

— Пойдёмте в игровую, — сказала она. — Я тоже буду. И вы.

* * *

Игровая была в конце отделения: маленькая комната с ковром, низким столиком, детскими стульчиками и коробкой игрушек, которые никто давно не разбирал. На подоконнике лежали пачка бумаги и банка с восковыми мелками.

Машу привела медсестра. Девочка остановилась в дверях. Серёжа сидел у матери на коленях на диванчике у стены. Он увидел Машу и не потянулся к ней, не засмеялся, не закричал. Он сполз с коленей матери на пол — сам — и встал. И стоял.

Маша подошла и села перед ним на корточки. Их лица оказались на одной высоте.

Ни один из них ничего не сказал. Секунду, две, пять. Савина видела мать Серёжи: та подалась вперёд, хотела что-то сказать и не сказала.

Маша протянула руку и поправила ему подвёрнутый рукав синей куртки. Отогнула край, подвернула заново, ровнее.

— Рисовать будешь? — спросила она.

Серёжа кивнул.

Она взяла с подоконника бумагу и мелки, усадила его за низкий столик, сама села на соседний стульчик — колени выше столешницы. Серёжа взял мелок. Чёрный. Взял неправильно, в кулак, как берут маленькие, и Савина видела, что он сначала попробовал взять иначе, пальцами, и мелок выскользнул. Тогда он взял в кулак.

Он рисовал долго. Линии шли криво, мелок крошился. Маша сидела рядом, не помогала, не подсказывала. Когда он останавливался, она говорила:

— Дом.

Он кивал.

— Крыша. Это над дверью — что? Навес. Над крыльцом. Да?

Кивок.

— Это река. За домом.

Кивок. Он взял синий мелок и провёл по низу листа волнистую линию. Потом снова чёрный. Нарисовал рядом с домом фигуру: палочки, круг головы. Сбоку от головы — длинную черту вниз, почти до пояса.

— Коса, — сказала Маша. Тихо.

Серёжа кивнул. Он склонился над листом и начал что-то пририсовывать к косе: маленький знак на конце, поперёк. Бант, ленту, что-то, что было для него важно. Мелок поехал. Черта ушла в сторону, через всё лицо фигуры, жирная, чёрная.

Серёжа замер.

Потом ударил мелком по столу. Мелок сломался пополам. Он ударил обломком ещё раз, и ещё, и обломок раскрошился, и он бил уже кулаком по столу, по листу, по испорченной фигуре, молча, с таким лицом, что его мать вскочила с дивана.

Маша не вскочила. Она положила ладонь на стол рядом с его кулаком. Не на кулак — рядом.

Серёжа остановился. Тяжело дышал. Посмотрел на её ладонь, потом на свой кулак. Разжал.

— Дай, — сказал он. Хрипло. — Другой.

Маша взяла с подоконника чистый лист и положила перед ним. Он смёл крошки мелка ребром ладони, как сметают со стола после еды. Взял новый мелок. Нарисовал снова: дом, крыша, навес, синяя линия реки. Фигура с косой. На конце косы — короткую черту. Медленно, сжав мелок так, что побелели костяшки. На этот раз получилось.

Он отложил мелок. Посмотрел на рисунок. Потом поднял голову и посмотрел на Машу.

— А Лиза? — сказал он.

Маша не ответила.

Савина видела её руки: они лежали на коленях и остановились. Не дёрнулись, не сжались — остановились. Лицо у неё ничего не выражало. Она смотрела на мальчика, и мальчик смотрел на неё, и никто из двоих не отводил глаз.

— Какая Лиза, зайчик? — спросила Ковалёва с дивана. Голос у неё дрожал. — У вас в садике Лиза? Лиза Маркова?

Серёжа не обернулся на мать. Он ждал ответа от Маши. Маша молчала.

Прошло, может быть, полминуты. Потом Серёжа опустил голову и стал смотреть на рисунок.

Маша взяла испорченный первый лист. Аккуратно сложила его вчетверо, по линиям, ровно. Повернулась к Ковалёвой:

— Можно я возьму?

— Это же... — Ковалёва не понимала. — Это испорченный. Возьми хороший.

— Хороший пусть у него, — сказала Маша. — Можно этот?

Ковалёва кивнула.

Маша убрала сложенный лист в карман халата. Встала. Положила руку Серёже на голову, ненадолго, и пошла к двери. В дверях не обернулась.

Серёжа смотрел в рисунок. На мать он не посмотрел.

* * *

Савина вышла из отделения в половине шестого, дошла до машины и вернулась. Села в коридоре, в конце, у окна, на то же место, где стояла утром. Медсестра Галина Петровна покосилась на неё с поста и ничего не сказала.

Она открыла тетрадь. Под «Не объясняет:» было уже семь строк. Она не стала добавлять восьмую. Открыла новую страницу и написала:

Лиза.

Подумала и дописала:

Не из списка. Не из класса (проверить). Не из садика Ковалёва (проверить). Ковалёв — спрашивает Орлову. Орлова — не отвечает.

Ниже:

«Было написано» — Орлова. «Уходить надо всем». Журнал. Пятьдесят первый год. Геологи — запрос в архив, ответа нет.

Ниже, отдельно, мелко:

Орлова — жест (переносица). Мать — реакция на жест.

Она закрыла тетрадь и посидела с закрытыми глазами. Версия держалась. Двенадцатилетняя девочка, которую пять дней готовили, могла выучить «тридцать семь лет», «геологов», «журнал». Могла выучить даже вес Савельева — если ей его назвали. Трёхлетний мальчик мог выучить слово «Лиза». Всё это можно было выучить.

Нельзя было выучить, как девочка складывает лист вчетверо. Савина не знала, почему её зацепило именно это. Она не стала записывать.

В девять вечера в отделении погасили верхний свет, оставили дежурный. Коридор стал длинным и жёлтым. Савина собиралась уходить, когда из дальней палаты вышла Маша.

Девочка была в халате и тапочках. Она шла по коридору медленно, вдоль дверей. У первой двери — палата Гарины — остановилась и постучала. Костяшкой, дважды. Не громко. Не открыла. Постояла.

Из-за двери стукнули в ответ. Один раз.

Маша пошла дальше.

Следующая дверь — Роцины, сёстры вместе с матерью. Два удара. Пауза. Изнутри — один.

Следующая — Савельев. Два удара. Пауза. Тишина. Маша постояла дольше, секунд десять. Пошла дальше.

Ветров. Два удара. Один в ответ — сразу, без паузы. За дверью ждали.

Литвиновы. Два. Один.

Данилов. Два удара. Тишина. Маша стояла у этой двери долго. Савина видела её спину и опущенные плечи. Потом девочка положила ладонь на дверь — плашмя, на секунду, — убрала и пошла дальше.

Галина Петровна вышла из-за поста.

— Каждый вечер, — сказала она Савиной вполголоса. — С понедельника. В девять. Мы сначала гоняли, потом бросили. Она тихо. Никого не будит. Постучит и уходит.

— А они отвечают?

— Кто как, — сказала медсестра. — Я не прислушивалась.

Савина прислушивалась.

Последней по коридору была палата Ковалёвых. Мать с сыном. Маша остановилась перед ней, постучала дважды и встала.

Тишина. Пять секунд. Десять.

Потом изнутри, низко, у самого пола — на той высоте, где у двери кончается краска и начинается плинтус, — раздался стук. Слабый, неловкий. Один раз. Так стучит ладонью маленький ребёнок, который ещё не умеет стучать костяшками.

Маша постояла. Повернулась и пошла обратно, в свою палату, мимо всех дверей, не глядя ни на одну.

Глава 6

Среда, 17 сентября — суббота, 20 сентября

Первые сведения лежали в отдельной папке. Савина собрала их в воскресенье — из рапортов, из листков, которые медики и сотрудники заполняли в машинах и в приёмном, из записей ночных сестёр. Ничего не спрашивать, записывать дословно, со временем — так она велела, и они записали. Почерки были разные, некоторые не разобрать. Она переписала всё в один лист, по алфавиту, и в среду утром, перед первой подробной беседой, перечитала его ещё раз.

Берёзина Д. — «Куклу не трогайте».

Ветров Г. — (ничего не сказал; от одеяла отказался).

Гарин А. — 08:14: «Юля в какой машине?»

Гарина Ю. — 08:20: «Он здесь? Лёша здесь?» После ответа — ничего.

Данилов И. — каждому подходившему взрослому: «Вы кто?»

Ковалёв С. — «Сам».

Корнёва В. П. — «Какое сегодня число? Какого года?»

Крайнов О. — 08:17: «Савельев — живой?» Повторил дважды.

Литвинов С. — попросил воды. Больше ничего.

Литвинова С. — 08:26: «Данилова куда повезли?»

Муров А. — «Там вода».

Орлова М. — «Её первой. Руки холодные. Она в прошлый раз...»

Рощина К. — «А мама придет?»

Рощина Н. — ночь на 14.09, палата: сидела у кровати сестры, по часам медсестры вслух считала ей вдохи за минуту. Каждые полчаса. До утра.

Савельев В. — «А мы где?»

Сорокин П. И. — «Шестнадцать».

Шестнадцать строк. Она читала их как опись вещей, найденных при трупe: каждая отдельно ничего не значит, вместе — почти рисунок.

Почти.

* * *

Среда

Лёша Гарин пришёл на беседу с отцом. Отец — крупный, в рабочей куртке, руки в цементной пыли, которую не отмыть за один раз, — сел на стул у стены и положил ладони на колени. Психолог, Лаптева, села сбоку. Лёша сел напротив Савиной и, прежде чем она открыла рот, сказал:

— Можно я сам сначала? Чтобы вы не тратили время на вопросы.

— Можно.

Он рассказал за двадцать минут. Ровно, по порядку, как рассказывают на планёрке, что сделано за неделю. Лес, лагерь геологов, пустые дома. Первая зима в сарае. Журнал — одиннадцать человек, пятьдесят первый год, «Север-7», начальник Ефремов. Счёт годам. Пары, дома, хозяйство. Он говорил «мы», и это «мы» было не школьным. Так говорят про бригаду.

Отец сидел неподвижно. Только пальцы на коленях сжимались и разжимались.

— Сколько лет? — спросила Савина, когда он замолчал.

— Тридцать семь. Без нескольких месяцев.

— Кто-нибудь умирал?

— Да.

— Кто?

Он посмотрел на неё. Потом на отца. Потом снова на неё.

— Вы же их видели. Они тут, по палатам.

— Я спрашиваю, кто умирал.

— Толя Муров. В третьем году. Утонул. — Лёша говорил медленно, как диктуют. — Ксения Рощина, пятый. Лёгкие. Витя Савельев, седьмой. Элеватор, упал. Игорь Данилов, семнадцатый.

— Отчего?

Пауза. Отец у стены поднял голову.

— Его казнили, — сказал Лёша. — Решили на Совете. За кражу.

— Ты голосовал?

— Голосовал.

— Как?

— За.

Савина записала. Лаптева перестала писать и смотрела на мальчика.

— Дальше, — сказала Савина.

— Вера Павловна, двадцать второй. Инсульт. Она старая уже была. Серёжа Ковалёв, двадцать восьмой. На охоте, обрыв, река. Машин муж.

Савина подняла глаза от блокнота.

— Ковалёв. Серёжа. Ему три года.

— Ему там был тридцать один, — сказал Лёша. — Когда упал.

— Он был женат на Маше Орловой.

— С восемнадцатого года. Я у них свидетелем был.

Отец встал. Лаптева тоже поднялась, сделала полшага к нему, но он уже сел обратно. Сидел, глядя в пол, и дышал ртом.

— Толя Муров утонул в третьем году, — сказала Савина. — А кто сейчас лежит в седьмой палате?

— Толя, — сказал Лёша.

— Как это?

— Не знаю. — Он пожал плечами. Не равнодушно — устало. — Вы спросили, я ответил. Мы его хоронили. Крест я ставил, мне семнадцать было. А потом мы вышли к автобусу, и он сидел в автобусе. Все шестеро сидели. На своих местах. Я не знаю как. Никто не знает.

— У Мурова есть шрам? Примета какая-нибудь?

— Родинка на шее, справа. И он воды боится. Боялся. После Толи у нас все, кто первый раз шёл на реку, говорили присягу. «Не быть Толей у воды». Так и называлось — присяга Толина. Сначала Вера Павловна придумала, чтоб младшие запомнили. Потом уже все. Мои тоже говорили.

— Твой?

— Дети.

Отец у стены издал звук. Не слово. Лаптева повернулась к нему, что-то сказала тихо. Он покачал головой.

— Юля — твоя жена? — спросила Савина.

— С одиннадцатого года.

— Дети где?

— Там, — сказал Лёша. — Демид, Фёкла, Осип. Не прошли.

— Что значит — не прошли?

Лёша посмотрел в окно. За окном был больничный двор, мокрый асфальт, скамейка, на скамейке курила санитарка.

— Не прошли, — повторил он. — Мы прошли, а они — нет. Больше я про это говорить не буду. Сегодня не буду.

Он сказал это без вызова.

Савина закрыла блокнот.

Когда они уходили, отец задержался у двери. Подождал, пока сын выйдет в коридор, и повернулся к ней.

— Вы его спрашивали, что такое «Совет», — сказал он. — Он объяснил, вы записали. Вот вы мне скажите. Где они этого набрались? Он у меня «Тамагочи» в прошлом году выпрашивал.

Савина ничего не ответила. Он и не ждал.

* * *

Четверг

Бумагу от медсестры Галины Петровны ей принесли вечером, вложенную в файл. Время, слова, исправление в листе назначений. Подпись медсестры. Ниже, другой ручкой, почерком дежурного педиатра: *«Подтверждаю. Вес взят из листа приёмного отделения ошибочно (38 кг вместо 28 кг). Ошибка указана несовершеннолетней Орловой М. А. до раздачи препарата. Орлова также спросила о результатах осмотра зева. Ахмедов Р. Т.»*

Савина подшила лист к делу. На полях карандашом поставила: *«Вверх ногами. Почерк врача».*

* * *

Пятница

Соня Литвинова пришла с отцом. Отец был тот самый — высокий, лысеющий, с сигаретами в нагрудном кармане, который на собрании в школе требовал ответить, почему автобус не иголка. Сейчас он молчал. Сел рядом с дочерью, близко, и всю беседу держал руку на спинке её стула.

Соне было десять. Маленькая, тёмная, с аккуратной чёлкой, которую ей, видно, подравнивали уже здесь. Она сидела прямо и слушала каждый вопрос до конца, а потом ещё секунду-две молчала, прежде чем ответить. Проверяла вопрос на прочность.

— В субботу, в машине, — сказала Савина, — ты спросила у врача: «Данилова куда повезли?»

Пауза.

— Да.

— Почему Данилова?

Пауза. Длиннее.

— Он мой муж, — сказала Соня.

Отец не шевельнулся. Только рука на спинке стула стала другой. Савина видела это по костяшкам.

— Был, — сказала Соня. — Там. С пятнадцатого года. — Она смотрела на Савину, не на отца. — Вам Гарин рассказал про семнадцатый?

— Рассказал.

— Тогда вы знаете, — сказала Соня.

— Я знаю, что сказал Гарин. Я хочу знать, что скажешь ты.

Соня молчала долго. Савина ждала. Она умела ждать, и девочка, кажется, это поняла.

— Его казнили за кражу, — сказала Соня. — Банки с тушёнкой. Был голод. Он не крал.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Кто крал?

Соня посмотрела на отца. Не долго — на мгновение. Отец этого не заметил: он смотрел на дочь, но на её лицо, а не туда, куда она смотрела. Потом Соня снова повернулась к Савиной.

— Я сейчас не буду про это, — сказала она.

Савина записала. Не слова — паузу, и куда девочка посмотрела.

— У вас были дети?

— Сын. Илья. Ему был год, когда Игоря... — Она остановилась на полуслове. — Ему двадцать один. Был двадцать один, когда мы уходили. Он остался.

Отец убрал руку со спинки стула и закрыл ею глаза.

— Соня, — сказала Савина. — Ковалёв Серёжа вчера спросил у Маши Орловой: «А Лиза?» Ты знаешь, кто такая Лиза?

Пауза. Самая длинная за всю беседу.

— Машина дочь, — сказала Соня.

— Где она?

— Спросите у Маши.

— Я спрашиваю у тебя.

— Я знаю, — сказала Соня. — Спросите у Маши. Это её.

И больше ничего не сказала.

После беседы Савина вышла в коридор и увидела отца Сони у окна. Он стоял с незажжённой сигаретой в зубах. Увидел её, вынул сигарету, повертел.

— Ей десять, — сказал он. — Она в четвёртом классе дробей боялась. Плакала над ними. Я ей объяснял до ночи.

Он убрал сигарету обратно в карман.

— Она меня сегодня утром спросила, не болит ли у меня поясница. Говорит: ты всегда так встаёшь, когда поясница. Я ей не рассказывал про поясницу. Никогда. Она откуда знает?

— Вы так встаёте, — сказала Савина. — Она видела.

— Пять дней не видела, — сказал он. — А до этого не замечала. Десять лет не замечала.

* * *

Днём в пятницу позвонил отец Гарина. Сам, без вызова. Савина сначала не поняла, кто это.

— Я по делу, — сказал он. — Вы сказали, если что — звонить.

— Слушаю.

— Я ему вчера пакет передал. Еду, вещи. Пакет был на ручках, завязан. Я сегодня прихожу забирать пустой, а он ручки связал. Вот так.

Пауза. Савина слышала, как он дышит.

— Как — так?

— Это узел, — сказал он. — Строительный. Таким на высоте страховку вяжут. Я его три года учился вязать, когда в бригаду пришёл. С закрытыми глазами чтоб. Он завязал за секунду. Я спрашиваю: «Где научился?» Он говорит: «Ты учил». Я его не учил. Ему четырнадцать лет, на кой ему узлы.

— Пакет сохранили?

— Сохранил, — сказал отец Гарина. — Не развязывал.

— Привезите, пожалуйста. Не развязывайте.

Он привёз через час. Савина сфотографировала узел с трёх сторон и положила пакет в коробку с другими предметами, которые ещё не знала, как назвать.

* * *

Толю Мурова она видела в пятницу в четыре.

Его мать, худая, с короткой мальчишеской стрижкой, сидела рядом и держала его за руку. Толе было восемь. Он был мелкий для своих лет, светлый, с оттопыренными ушами, и сидел на стуле, поджав одну ногу под себя. С ним Савина говорила медленнее, чем с остальными. Лаптева сидела ближе обычного.

Он помнил понедельник: дождь, автобус, Витька сзади дёргал за капюшон. Помнил лес. Помнил дома геологов и как они с Витькой нашли там ржавый мотоцикл без колёс и играли в мотоциклистов. Помнил первую зиму. Помнил снег — «столько, сколько тут не бывает, по пояс Вере Павловне». Помнил сарай, где все спали вповалку и где Палыч топил печку и пел.

Дальше было лето.

— Мы на реку пошли, — сказал Толя. — Там мостки были. Старые, от геологов ещё. Я с краю стоял. Там доска.

Он замолчал. Мать сжала его руку.

— Доска, — повторил он. — А потом вода. Холодная. А потом автобус.

— Что было между водой и автобусом?

— Ничего, — сказал Толя. — Вода. Потом автобус. И все старые.

— Кто старые?

— Все. — Он посмотрел на Савину удивлённо: она спросила глупость. — Лёшка, Машка, все. Они в автобусе такие же, а смотрят по-старому. Как взрослые. Лёшка на меня смотрел и плакал. Вот так.

Он показал, как плакал Лёшка: открыл глаза широко и не моргал.

Савина сказала — мягко, ровно, как говорят про погоду:

— Толя. Тебе говорит что-нибудь такая фраза: «Не быть Толей у воды»?

Он смотрел на неё. Мать перестала дышать.

— Не, — сказал Толя. — Это чего?

— Ты такого не слышал?

— Не. — Он помотал головой. Потом остановился. Подумал. Посмотрел на мать, потом снова на Савину. — Это про меня?

Лаптева коснулась руки Савиной.

— Достаточно, — сказала она тихо. — Ирина Сергеевна. На сегодня достаточно.

Мать Толи встала. Взяла сына за плечи, подняла со стула, повела к двери, и он шёл и оборачивался через плечо на Савину и спрашивал уже на пороге, громко, требовательно, как спрашивают восьмилетние:

— Это про меня? Это они про меня придумали? Мам, это про меня?

Дверь закрылась.

Лаптева сидела, сложив руки на коленях.

— Вы проверяли, — сказала она. Не вопрос.

— Проверяла.

— На ребёнке.

— Если бы их всех пять дней учили одному тексту, — сказала Савина, — его бы тоже научили. Он из самых младших. Его бы учили первым.

Лаптева ничего не сказала. Собрала свои листки, кивнула и вышла.

Савина сидела одна в ординаторской и смотрела на пустой стул, где Толя сидел, поджав ногу. Потом открыла блокнот и записала: «Муров — не знает. "Это про меня?"» — и подчеркнула двумя чертами. Подумала и подчеркнула ещё раз.

* * *

Суббота

Гриша Ветров пришёл с матерью. Мать, в том же светлом плаще, который она не снимала, кажется, с понедельника, вошла первой, огляделась, переставила свой стул на полметра ближе к сыну, поправила ему воротник рубашки. Гриша позволил.

Он был обычный мальчик. Худой, тёмный, с кривой улыбкой с фотографии, только сейчас без улыбки. Один передний зуб выше другого. Сидел, положив руки на колени, и смотрел на Савину так, как смотрят на учительницу, которая будет спрашивать урок, который ты знаешь, но не хочешь отвечать.

Отвечал он всё. Коротко, точно, и всё совпадало. Тридцать семь лет. Геологи. Журнал, «Север-7», Ефремов. Сарай, зима, река. Толя — третий год. Ксения — пятый. Витя — седьмой, элеватор; он был рядом, но не видел, как это случилось. Игорь — семнадцатый. Вера Павловна — двадцать второй. Серёжа — двадцать восьмой, охота, обрыв.

— Ты был на той охоте? — спросила Савина.

— Был.

— Видел, как это случилось?

— Видел, — сказал Гриша. — Он сорвался. Там край был подмытый. Я не успел. Сказал ровно. Савина записала.

— Кем ты был там?

— Охотником.

— Ты был женат?

— Да.

— На ком?

— На Даше. Берёзиной.

Мать Гриши поправила край плаща на колене и сказала, не поднимая глаз:

— Гриша. Ну что ты такое говоришь.

Он не повернулся к ней.

— С тринадцатого года, — сказал он Савиной.

— У вас были дети?

Он молчал. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел — не на Савину, мимо неё, в окно, туда, где за больничным двором начинались крыши, а за крышами, далеко, у самого горизонта, темнела полоса леса.

Прошло полминуты. Мать открыла рот, закрыла.

— Двое, — сказал Гриша.

— Как их зовут?

Он не ответил. Он смотрел в окно.

— Гриша, — сказала Савина.

Он не ответил.

Мать повернулась к Савиной и улыбнулась — быстро, вежливо, как улыбаются учительнице на родительском собрании, когда та говорит что-то неприятное про твоего ребёнка.

— Вы его извините, — сказала она. — Он устал. У моего мальчика просто нервы.

Глава 7

Вторник, 16 сентября

В коридоре второго этажа пахло хлоркой и подгоревшей кашей. Орлов стоял у окна, пил кофе из автомата, который давал кофе только со второго раза, и смотрел, как во дворе разворачивается чёрная «Камри» с московскими номерами.

— Это к Савиной, — сказал Колесников. Он приехал привезти ей бумаги и задержался у автомата. — Из главка. И ещё кто-то с ними. Из института.

— Какого института?

— Сербского вроде. Или не Сербского. Детская психиатрия какая-то. Звонили вчера весь день. Им тут, говорят, уникальный случай.

Из «Камри» вышли двое мужчин в одинаковых тёмных куртках и женщина с портфелем. Женщина посмотрела на окна больницы, этаж за этажом, как смотрят на дом, который собираются купить.

— Уникальный, — повторил Орлов.

— Я ничего не говорил, — сказал Колесников и ушёл.

* * *

Маша сидела на подоконнике в своей палате, подтянув колени к подбородку. Ольга ушла на работу — в первый раз за неделю, на полдня, потому что позвонила заведующая и сказала: Оля, без тебя квартальный отчёт не сдадим. Маша сама её выгнала. Сказала: «Иди, мам. Тебе надо. Отчёт — это нормально».

Орлов сел на стул у кровати.

— Чего на окне?

— Смотрю.

— На что?

— На машину. — Маша не обернулась. — Московская?

— Московская.

— Это за нами?

Он не сразу ответил. Она обернулась.

— Пап. Это за нами?

— Это к Савиной. Начальство.

— И врачи, — сказала Маша. — Женщина с портфелем — врач. Она так смотрит.

— Как?

— Как на палату. Сколько коек, где окна. — Она снова отвернулась к стеклу. — Я тоже так смотрела.

— Где?

Маша не ответила. Он ждал. Она сидела, обхватив колени, и он видел её профиль на фоне серого неба: подбородок, царапина на скуле, которая за три дня почти зажила. Двенадцать лет.

— Ты Лену Сорокину видел? — спросила она. — Палыча дочку.

— Видел. В воскресенье.

— Как она?

— Нормально. Устала.

— Она с ним разговаривает?

— Он с ней не очень.

— Ты ей скажи, — сказала она. — Если увидишь. Что он не потому, что не хочет. Пусть она его не трогает пока. Пусть просто сидит рядом. Он сам начнёт.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — сказала Маша. — Скажешь?

— Скажу.

— А ты спал?

— Спал.

— Сколько?

— Пять часов.

Она посмотрела на него внимательно. Тем взглядом, с ботинок на лицо.

— Три, — сказала она. — Ты врёшь, когда говоришь цифру сразу. Когда правда — ты считаешь.

Он хотел засмеяться и не смог.

* * *

Около полудня по отделению прошла старшая медсестра с пачкой бумаг и громко, на весь коридор, объявила, что вещи детей из камеры хранения выдают родителям под роспись. Окно на первом этаже, до трёх. Одежда, обувь. Всё, что было на них в субботу. Рюкзаки и телефоны изъяты следствием, по ним вопросы к следователю.

Орлов спустился, когда очередь у окна уже рассосалась. За окном сидела пожилая санитарка в очках на цепочке и сверяла фамилии со списком. Перед ней на полу стояли прозрачные пакеты, в каждом — свёрнутая одежда и бумажка с фамилией, приколотая скрепкой.

У окна стояла мать Гриши Ветрова. Светлый плащ, аккуратная причёска. В руках — пакет с надписью «Ветров Г.». Она расписывалась в журнале и всё не могла расписаться: ручка не писала, она трясла её, пробовала на ладони, снова трясла.

Орлов достал из кармана свою и протянул.

— Спасибо. — Она взяла, не глядя на него. Расписалась. Вернула. Потом посмотрела. — Вы... Орлов? Машин папа?

— Да.

— Я вас по телевизору видела. В среду. Вы там на мосту стояли.

— Я там стоял, — согласился он.

Она прижала пакет к груди обеими руками.

— Нина Владимировна, — сказала она. — Ветрова.

Он расписался за Машины вещи. Санитарка выдала ему пакет: летняя куртка, джинсы, футболка с эмблемой лагеря, кроссовки, носки. Он взял пакет и почувствовал запах сквозь полиэтилен. Порошок. Тот самый, Ольгин, с лавандой, который Маша ненавидела и требовала другой, а Ольга покупала этот, потому что он дешевле.

Пять дней. Тот же запах.

Он стоял и держал пакет и не знал, что ему делать с этим запахом. Его нельзя было записать.

— Вы на машине? — спросила Нина Владимировна. Она стояла у выхода и смотрела на дождь. Дождь пошёл час назад, мелкий, частый. — Простите. Я на автобусе. А он через сорок минут, а у меня зонта нет, и я...

— Довезу, — сказал он. — Куда?

— Это далеко. На Садовую. За переездом.

— Довезу.

* * *

Она села на переднее сиденье, пакет положила назад. Пристегнулась. Он выехал со двора и повернул к переезду. Дворники ходили по стеклу медленно, со скрипом — резину надо было менять ещё в августе.

Нина Владимировна молчала два квартала. Потом сказала:

— Вы его видели? Гришу?

— В субботу. На мосту.

— Он вам что-нибудь говорил?

— Нет.

— Мне тоже, — сказала она. — Почти ничего. «Да, мам». «Нет, мам». «Спасибо». Он раньше не говорил «спасибо». Я его учила, учила. Он не говорил. А теперь — всё время.

Она замолчала. Он вёл машину.

— Вчера, — сказала она, — он меня спросил, есть ли у меня кто-нибудь. Мужчина. Вот так прямо. Посмотрел и спросил: «У тебя кто-то есть?» Одиннадцать лет. Я говорю: «Гриша, ты что». А он: «Ты одна не надо. Тебе тяжело одной».

Она отвернулась к окну.

— Я одна с ним с двух лет. Мне никогда не было тяжело. Я ему так и сказала. А он посмотрел на меня... Я не знаю, как сказать. Как будто я ему врала, а он знал и не стал спорить.

Орлов ничего не сказал. Он вспомнил Ольгу ночью: «Как будто я перепутала, где ложки, а она не говорит».

— Пакет, — сказала Нина Владимировна. — Я его понюхала там, в коридоре. Вы будете смеяться.

— Не буду.

— Это мой порошок. Я ему в воскресенье всё стирала, перед лагерем. Куртку, штаны. И оно так и пахнет. Как вчера.

— Машино тоже, — сказал он.

Она посмотрела на него. Он смотрел на дорогу.

— Пять дней, — сказала она. — В лесу. В дожде. Где они были, что от них даже ничем не пахнет?

Он не ответил. Он не знал.

* * *

Садовая была улицей частных домов за железной дорогой: заборы из профлиста, яблони над заборами, собаки. Дом Ветровых стоял в конце, маленький, обшитый белым сайдингом, с аккуратным палисадником. Во дворе — сарай с новой дверью и старой крышей. На крыльце — резиновые сапоги, большие и маленькие, рядом.

Нина Владимировна отстегнулась.

— Спасибо вам. Вы зайдёте? Я чай...

— Нет, мне назад.

— Конечно. — Она открыла дверь, вышла под дождь, открыла заднюю. Наклонилась за пакетом. Пакет зацепился за что-то — за ремень безопасности, за край сиденья, — она дёрнула, и он вылез, перекошенный, с расплзшимся верхом. Из горловины выглянул рукав куртки. Она запихнула рукав обратно, прижала пакет к груди и побежала по дорожке к крыльцу, пригибаясь под дождём, хотя это не помогало.

На крыльце обернулась, махнула ему рукой. Дверь закрылась.

Он посидел немного. Дождь стучал по крыше. В окне дома зажёгся свет — на кухне, судя по занавеске в клетку.

Он потянулся назад, чтобы поправить сползший на пол коврик, и увидел бумагу.

Сложенный лист. Маленький, в ладонь. Лежал на полу за пассажирским сиденьем, у самого порожка, там, где Нина Владимировна дёрнула пакет. Выпал из куртки, когда пакет порвался. Орлов знал это так же, как знал, что вещи на месте происшествия падают не случайно, а туда, куда их уронили.

Он поднял лист.

Бумага была плотная и шершавая на ощупь, желтоватая, с ломкими краями. На сгибах она уже начала протираться, светлела. Он развернул её осторожно, двумя руками, как разворачивают старую карту.

Рисунок.

Четыре фигуры в ряд и солнце над ними. Рисовали углём — палец, которым он придерживал край, стал серым. Уголь был свежий, мазался. Фигуры были простые, но не детские: он это увидел сразу и не смог бы объяснить почему. Не палка-палка-огуречик. Плечи. Наклон головы у одной фигуры — чуть вбок, так наклоняют голову, когда слушают. Самая высокая фигура слева. Рядом пониже — с длинными волосами. Потом ещё одна, почти с высокую ростом. Потом совсем небольшая, справа, с чем-то в руке — палка или лук, он не разобрал. Солнце было покрашено красным. Не мелком — чем-то бурым, неровным, похожим на глину.

Внизу, в правом углу, подпись. Углём, твёрдым взрослым почерком, с наклоном вправо: *Артём*.

Он перевернул лист. На обороте, бледно, едва видно, — типографская разлиновка. Тонкие линии в клетку, как в старых бланках. По верхнему краю — обрывок печатного заголовка, сохранились только несколько букв в середине: «...ЛЕВОЙ...». Шрифт был старый. Такой он видел в архиве, в делах шестидесятых, а может, и раньше. Он не знал. Он не разбирался в шрифтах.

Артём.

Он прогнал в голове список. Шестнадцать имён. Он знал их наизусть так же, как Савина: пять дней он смотрел на ту же доску. Алексей, Анастасия, Анатолий, Вера, Виктор, Григорий, Дарья, Игорь, Ксения, Мария, Олег, Павел, Сергей, Софья, Степан, Юлия.

Артёма не было.

Он сидел в машине под дождём, у дома Ветровых, с листом на коленях. Свет на кухне за клетчатой занавеской горел ровно. За занавеской кто-то прошёл — силуэт, плечо, поправленная прядь.

Он знал, что должен сделать. Это не требовало размышлений. Предмет, найденный при обстоятельствах, относящихся к расследуемому событию, — Савиной. С описанием: где, когда, при ком. Она бы подшила, оформила, отправила на исследование. Бумагу, уголь, бурую краску. Почерк. Он бы дал объяснение. Через неделю пришло бы заключение. Что-нибудь про возраст бумаги, про состав. Через две его прочитали бы в Москве.

Или: подойти и постучать в дверь. «Нина Владимировна, у вас выпало». Она бы взяла, поблагодарила, положила обратно в карман сыновней куртки. Сын бы обрадовался. Это было его.

Он смотрел на свет в окне.

Он думал о женщине с портфелем у «Камри». О том, как она смотрела на окна больницы. О словах Колесникова — «уникальный случай». О том, как работают такие вещи, когда в них приходят люди из института: сначала обследование, потом наблюдение, потом перевод в специализированное отделение, потому что районная больница не справляется. Потом Москва. Потом закрытый корпус, куда родителей пускают по пятницам. Он такое видел один раз, восемь лет назад, с мальчиком из Заречного, который поджигал сараи и разговаривал с собакой. Мальчика забрали на обследование на месяц. Мать ездила к нему три года.

Рисунок на старой бумаге. Подпись человека, которого нет в списке. Уголь, который мажет палец.

Если этот лист попадёт в дело, детей разберут по кабинетам. Всех. Машу первой — она говорит лучше всех, они это быстро поймут.

Он сложил лист по старым сгибам. Медленно, чтобы не сломать. Положил во внутренний карман куртки, где носил удостоверение.

И завёл мотор.

* * *

Дома никого не было. Ольга писала в шесть: задержусь до восьми, отчёт. Он прошёл в кухню, не снимая куртки, открыл ящик стола и достал карту — ту самую, сложенную вчетверо,

с квадратами прочёсывания и чёрным крестом у моста. Под картой лежала прозрачная папка-файл, в которой он всю неделю носил ориентировки. Он вынул ориентировки, положил на стол.

Достал лист из кармана. Не развернул. Вложил в файл. Положил файл в ящик. Сверху — карту.

Закрыв ящик.

Он стоял у стола и смотрел на свои руки. Указательный палец правой был серым от угля. Он пошёл в ванную и долго мыл руки, с мылом, щёткой для ногтей, пока палец не стал красным.

* * *

Нина Владимировна позвонила в половине девятого. Ольга уже пришла, разогревала ужин. Он увидел незнакомый номер и вышел в коридор.

— Андрей Николаевич? Это Ветрова. Извините, что поздно. Вы мне номер дали, когда...

— Да. Слушаю.

— Я понимаю, это глупость. Я сейчас от Гриши. Я ему сказала, что вещи забрала, что постираю. А он... — Она замолчала. Он слышал, как она дышит. — Он спросил про куртку. Есть ли в кармане бумажка. Листок, сложенный. Я пришла домой, всё перерыла. Нет ничего. Я подумала — может, у вас в машине? Когда пакет порвался?

— Не видел, — сказал Орлов.

— Посмотрите, пожалуйста. Я понимаю, что это глупость. Просто он так...

— Сейчас посмотрю.

Он постоял в коридоре с телефоном у уха. Досчитал до двадцати. Ольга на кухне звякнула крышкой кастрюли.

— Нет, — сказал он. — Ничего нет. Я посмотрел.

— Да, — сказала Нина Владимировна. — Конечно. Спасибо. Простите.

Она не отключалась.

— Он плакал, — сказала она. — Когда я сказала, что не нашла. Он с субботы не плакал. Ни разу. А тут лёг лицом к стене и... Я его таким не видела. Никогда. Он даже маленький так не плакал.

— Может, ещё найдётся, — сказал Орлов. — В больнице. В камере хранения.

— Может, — сказала она. — Спасибо вам. Спокойной ночи.

Он опустил телефон.

Из кухни вышла Ольга с полотенцем в руках.

— Кто это?

— Ветрова. Мать Гриши. Спрашивала, не выпало ли что-то в машине. Я её подвозил.

— Выпало?

— Нет, — сказал он.

Ольга посмотрела на него. Потом на его руку — правую, с красным, отмытым до ссадины пальцем. Он убрал руку в карман.

— Ужинать, — сказала Ольга. — Остынет.

Он пошёл за ней на кухню. Сел на своё место. Ящик стола, где лежала карта, был у его левого колена. Он ел, не чувствуя вкуса, и всё время чувствовал этот ящик коленом, хотя не касался его.

Часть вторая. Размещение

Глава 8

Воскресенье, 21 сентября

Кардиолог была маленькая, сухая, в очках на кончике носа. Говорила она не со Стёпой, а с отцом, поверх Стёпиной головы, как говорят при ребёнке про погоду: всё равно не поймёт.

— Порок тот же, — сказала она. — Вот выписка из вашей поликлиники, вот наше. Размеры те же. Ничего не изменилось. Это хорошо.

— А что должно было измениться? — спросил отец.

Кардиолог посмотрела на него поверх очков.

— Ничего, — сказала она. — Пять дней. Я просто сравнила.

Отец держал на коленях Стёпину куртку и всё время разглаживал её ладонью, хотя на ней не было складок.

— В Самару на консультацию, как и планировали. Нагрузки ограничить, физкультура — по справке. Бег, подъёмы, тяжести — нельзя. Будет одышка, будет колоть — сразу к врачу. Он у вас знает, где колет?

— Знаю, — сказал Стёпа.

Кардиолог впервые на него посмотрела.

— И где?

Он показал. Не пальцем — ладонью, плашмя, слева и ниже, чем показывают дети, которые видели сердце на картинке. Там, где оно на самом деле.

— Когда колет, — сказал он, — надо сесть. Не лечь. Сесть и не говорить. До ста посчитать. Потом можно идти.

— Это тебе кто сказал?

Стёпа не ответил. Ему это сказала Настя. В девятом году, в лесу, за четыре километра от дома, когда он сел в снег с лосиной ногой на плечах и не смог встать. Она тогда ещё не была ему женой, просто шла второй по лыжне. Она не знала, как правильно, и придумала сама: сидеть и считать. Потом это стало правилом. Почти тридцать лет он считал до ста — на охоте, на крыше, на покосе. Ни разу сердце не выиграло.

— Ну, считай, — сказала кардиолог и что-то записала. — Считать не вредно.

* * *

Соня собирала вещи. Их держали в одной палате, брата и сестру, и всю неделю Стёпа смотрел, как она складывает: майку квадратом, рукава внутрь, носки парой, в одну линию. Так складывали там, в сундуки, когда место было дорого. Здесь у неё был пакет из «Пятёрочки», и она укладывала в него вещи как в сундук.

Отец смотрел на неё и молчал. Он вообще больше молчал эту неделю. Он сидел на обеих беседах — на Стёпиной и на Сониной — и после каждой выходил на крыльцо с сигаретой и не закуривал. Бросил шесть лет назад. Сигареты носил в нагрудном кармане, Стёпа помнил это с детства, со здешнего детства: на случай, если совсем край. Видно, край был не совсем.

На своей беседе Стёпа сказал следователю всё, что сказали другие. Тридцать семь лет. Геологи. Настя — жена, с тринадцатого года. Марк и Алла. Младенец в девятнадцатом, круп, два месяца. Когда следователь спросила, за что казнили Данилова, он сказал: за кражу. Когда спросила, кто крал на самом деле, он сказал: не знаю.

Он сказал это ровно, глядя ей в лицо. Он умел. Он говорил это ровно с шестнадцатого года, когда открыли кладовую и банок там не нашли.

— Стёп, — сказала Соня. — Зубную щётку возьми. Она твоя, она в стакане.

Он взял щётку.

* * *

В холле первого этажа было тесно. Выписывали сразу многих, всех, кроме Палыча и Веры Павловны, которых держали во взрослом отделении ещё на сутки. Родители стояли с пакетами и куртками, дети сидели на банкетках вдоль стены, и все старались не смотреть друг на друга. Медсестра у стойки выдавала выписки по одной и каждый раз называла фамилию громко, как на вокзале.

Ксения засмеялась.

Мать подхватила её под мышки и покрутила, и Ксения засмеялась, запрокинув голову, звонко, взхлёб, как смеются восьмилетние, когда их крутят. Стёпа обернулся на этот смех и увидел снег.

* * *

Первая зима. Снег лёг в конце октября — они ещё считали месяцы по-здешнему, от сентября, — и больше не уходил. К декабрю его было столько, что Вера Павловна ходила от сарая к колодцу по траншее, которую Палыч прорыл лопатой, и над траншеей была видна только её шапка.

Снежки начал Витька. Кинул в Гришку, промахнулся, попал в Олега. Олег слепил ком — Олег всегда лепил плотно, до льда — и кинул в Витьку, но тот присел, и ком попал в Палыча. Палыч воткнул лопату в сугроб и сказал: «Ну всё».

Через десять минут во дворе были все. Все четырнадцать. Лёшка с Палычем строили крепость — Лёшка уже тогда знал, как класть, чтобы не обвалилось. Машка тащила за капюшон Серёжу, которому было четыре и который проваливался в снег по грудь и каждый раз орал не от страха, а от злости, что проваливается. Толя с Ксенькой лепили снаряды и подавали, как подают патроны в кино про войну. Игорь с Соней были в другой команде и честно умирали, когда в них попадали, — падали навзничь, раскинув руки. Даша кидала плохо и смеялась. Юлька не кидала вообще, она стояла у сарая и считала, кто попал больше. Гришка попадал всегда.

Стёпа в тот день попал в Настю. Сзади, в шапку. Настя обернулась, посмотрела на него и ничего не сказала. Подошла, взяла горсть снега и спокойно засунула ему за шиворот. Всю горсть. Им обоим было по тринадцать, и он стоял, чувствуя, как тает на спине, и не знал, что делать, а она уже ушла обратно к своим.

Ксенька так смеялась, что упала в сугроб и не могла встать, и смеялась лёжа, задрав ноги в валенках. Вера Павловна стояла на крыльце сарая, закутанная в платок до глаз, и тоже смеялась — беззвучно, видно было по плечам.

Потом стемнело — рано, в четыре. Вера Павловна загнала всех в сарай. Стояла у двери, пропускала, трогала каждого по макушке и считала вслух: «...двенадцать, тринадцать, четырнадцать». Последним прошёл Палыч, отряхивая шапку.

— И мы с вами, — сказал он.

— И мы с вами, — согласилась Вера Павловна и закрыла дверь на засов.

* * *

Мать Роциных поставила Ксению на пол. Та всё ещё смеялась, держась за материн рукав.

Настя стояла рядом с пакетом. Мать Роциных увидела отца Литвиновых, и отец Литвиновых увидел её. Они кивнули друг другу. Стёпа видел, как они ищут, что сказать, и не находят. Неделю назад это были двое родителей из одного класса, которые здоровались на линейке. Теперь у них было общее, для которого не было слова.

— Здравствуйте, — сказала мать Роциных.

— Здравствуйте, — сказал отец.

Больше они ничего не сказали.

Настя подошла к Стёпе. Встала в шаг. Они были одного роста — здесь, сейчас. Там она была ему по подбородок, и он забыл об этом до сегодняшнего утра, когда увидел её в коридоре и не понял, почему смотрит прямо, а не вниз.

— Таблетки дали? — спросила она.

— Дали.

— Пей.

— Буду.

— Не бегай.

— Не буду.

Она подняла руку и приложила два пальца к его груди. Слева, ниже, чем показывают на картинке. Туда, куда он показал утром кардиологу. Подержала. Он чувствовал, как сердце стучит ей в пальцы, и она чувствовала, и оба молчали.

Она убрала руку.

— Сто, — сказала она.

— Помню.

— Настюш, — позвала мать. — Пошли.

— Иду. — Настя не обернулась. — Позвони вечером. С папиного.

— Позвоню.

Она взяла пакет и пошла к матери. Ксения, уже у дверей, обернулась и помахала Стёпе — во всю руку, по-детски. Он помахал в ответ.

Отец стоял рядом. Стёпа почувствовал, как отец хочет что-то спросить. Почувствовал по тому, как тот перехватил пакет из одной руки в другую.

— Стёп. Это... она...

— Да, — сказал Стёпа.

Отец больше ничего не спросил.

* * *

У аптечного киоска в углу холла стояла Лена Сорокина. Палыча, видно, отпустили спуститься вместе с ней: он сидел рядом на банкетке, в больничном халате поверх тренировочных штанов, уронив руки между колен. Лена протягивала в окошко рецепт и говорила, не оборачиваясь:

— По одной на ночь, пап. Слышишь? Не больше. Если не берёт — половинку ещё, и всё. И мне звони.

— Слышу, Лен.

Палыч поднял голову и увидел Стёпу.

Стёпа знал, что Палыч ковал скобы. В семнадцатом году, для клетки, в которой Игорь просидел свои последние три дня. Ковал и плакал ночью в кузнице, его слышал весь посёлок. Палыч голосовал «за». Палыч ковал. Палыч не знал, кто на самом деле взял банки.

А Стёпа знал.

— Ну что, Степан, — сказал Палыч. — Домой?

— Домой, Павел Ильич.

Палыч посмотрел на него. Долго. Лицо у него было то же, квадратное, из прямых углов, только глаза ушли глубже.

— Ну, живи, — сказал Палыч.

Лена забрала из окошка коробочку, и Палыч встал, опираясь на её плечо, хотя ему не нужно было опираться.

* * *

На крыльце курили санитары. Отец пошёл за машиной на стоянку, Соня осталась с пакетом в холле — она не любила стоять на ветру. Стёпа вышел подышать.

На ступеньках стоял Олег Крайнов. Без куртки, в свитере. Смотрел на стоянку, где Витя Савельев садился в машину к родителям. Витина мать держала дверцу, отец укладывал сумку в багажник. Витя сел, мать пристегнула его, сама, хотя он вырывался, — и захлопнула дверцу.

Олег смотрел, пока машина не выехала со двора. Потом повернулся к Стёпе.

— Ты помнишь элеватор? — спросил он.

— Помню.

— Здешний видел? За линией.

— Видел.

Здешний элеватор был виден из окна их кухни, если встать у плиты. Стёпа видел его всю жизнь — эту, первую, двенадцать лет — и ни разу о нём не думал.

— Похож, — сказал Олег.

— Похож.

Олег сказал, глядя на пустую уже стоянку:

— Я схожу. Посмотрю.

— Зачем?

Олег пожал плечами.

— Тут, может, надо всё сказать, — сказал он. — Пока можно.

И посмотрел на Стёпу. Прямо, коротко.

Стёпа почувствовал, как сердце дёрнулось. Не там, где колет, — выше, под горлом. Он ничего не ответил. Олег кивнул и ушёл в холл, к своей матери.

* * *

Элеватор стоял у старой ветки за лагерем геологов — такой же, как здешний, только без забора.

В седьмом году Палыч послал их за железом. На элеваторе были рельсы, скобы, лестничные пролёты — то, что можно было отогнуть, отбить и утащить в кузницу. Пошли вчетвером: Олег, он у Палыча был в подмастерьях, Витька, Лёшка и Стёпа. Гришка увязался пятым, тащить волокушу.

Олег с Витькой полезли наверх, на галерею — там висел трос, хороший, стальной. Стёпа с Лёшкой и Гришкой остались внизу, грузили на волокушу то, что успели отбить. Сверху был слышен смех. Витьке было семнадцать, Олегу двадцать, и они там, наверху, затеяли что-то своё, старое, с первого лета, — кто дальше перегнётся через перила. Стёпа слышал, как Витька кричит: «Смотри! Смотри, говорю!»

Потом Витька перестал кричать.

Стёпа не видел, как он падал. Он услышал. Звук был короткий и тупой, как когда роняют мешок с зерном на утоптаный пол. Он побежал раньше, чем понял, на что бежит.

Витька лежал на бетоне у основания галереи, на боку, одна рука под головой. Стёпа упал рядом на колени и взял его голову в ладони — не надо было трогать, он потом узнал, что не надо, — и держал, и звал, и Витька смотрел на него и мимо него, и больше никуда не смотрел.

Олег спустился по лестнице. Белый. Встал над ними. Губы у него двигались.

— Сам, — сказал Олег. — Перегнулся. Я ему кричал.

Лёшка уже бежал в посёлок за Машкой. Машке было девятнадцать, она второй год сидела над книгами Веры Павловны и бинтовала всем всё. Она прибежала через двадцать минут с сумкой, упала на колени рядом со Стёпой, приложила пальцы к Витькиной шее, подержала. Потом убрала пальцы и сказала: «Всё». Сказала тихо, не им — себе.

Потом прибежала Вера Павловна. Олег стоял у лестницы и смотрел в землю.

Стёпа ему поверил. Олег никогда не врал. Это все знали: Олег мог промолчать, но врать — нет.

* * *

Квартира отца была на пятом этаже панельного дома у переезда. Две комнаты. В одной — отцовский диван и телевизор. В другой — две кровати вдоль стен, его и Сонины. Над Сониной — полка с куклами в пластиковых коробках, которые никто не открывал. Над его — плакат «Крыльев Советов», прошлогодний состав. Он не помнил, кто там на нём. Помнил, что любил.

Соня поставила пакет у своей кровати и стала разбирать. Майки — квадратом — на полку в шкафу. Носки — парой.

Стёпа сел на свою кровать. Посидел.

Марку было двадцать три. Алле — двадцать. У Марка с Фёклой рос Тихон, ему был год, он уже ходил, держась за лавку, и всё время падал на попу и не плакал. У Аллы с Артёмом — дочь, Агафья, ей было три месяца. Стёпа сделал ей люльку из берёзы. Повесил под потолок на кованный крюк, который выпросил у Палыча.

Здесь, на кровати, где он спал до восьмого сентября, у него не было ни одного их предмета. Ни ниточки. Он подумал, что надо было взять что-нибудь. Хоть что-нибудь. Хоть пуговицу. Он не взял, потому что они шли все вместе: Алла несла Агафью, Марк — Тихона, и брать что-то на память было не от кого.

Он перестал об этом думать. Встал и снял с полки коробку «Лего», которую собирал в августе. Подержал. Поставил на шкаф, повыше, где не видно.

* * *

Вечером он позвонил с папиного телефона. Ответила мать Роциных, позвала. Он слышал, как Настя идёт к трубке, как шлёпают тапки.

— Ну? — сказала Настя.

— Ну.

— Таблетку выпил?

— Выпил.

— Ксенька спит?

— Спит. — Настя помолчала. — Я считаю.

Он понял, что считает она не таблетки.

— Не считай. Она здорова. Врачи смотрели.

— Знаю, — сказала Настя. — Всё равно считаю.

Он ничего не сказал. Слышал, как она дышит. Так они могли молчать там часами, за работой — она за станком, он у печки с ножом и деревяшкой.

— Спокойной ночи, Стёп, — сказала Настя.

— Спокойной ночи.

* * *

Отец заглянул в комнату в одиннадцать. Соня уже спала, отвернувшись к стене, ровно, тихо. Стёпа стоял у окна.

— Ложись, сынок.

— Сейчас.

Отец постоял в дверях. Хотел, видно, что-то сказать. Не сказал. Ушёл к себе, и через стенку Стёпа услышал, как скрипнул диван.

Он лёг. Кровать была его, по росту, а он всё равно вытянул ноги, ожидая, что ступни повиснут над краем, как висели там тридцать лет на любой лавке. Не повисли. До спинки оставалось ещё сантиметров двадцать. Он лежал и шевелил пальцами в этой пустоте.

Олег на крыльце сказал: тут, может, надо всё сказать. Пока можно. Сказал и посмотрел на него.

Стёпа лежал на спине и думал, что Олег знает. Что Олег в тринадцатом году видел его у кладовой геологов, ночью, с мешком. Когда Настю выворачивало от всего, кроме мяса, и она была на третьем месяце, а неприкосновенный запас лежал в кладовой нетронутый, двадцать

банок, и никто не считал. Что Олег видел — и молчал двадцать четыре года. И теперь, здесь, где всё можно заново, решил сказать.

Стёпа положил ладонь на грудь, слева и ниже, и стал считать.

Он считал до утра. Об элеваторе он не подумал ни разу.

Глава 9

Понедельник, 22 сентября

Даша проснулась в пять, как просыпалась последние тридцать лет, и сначала не поняла, почему потолок так близко.

Потом поняла. Потолок был обычный. Это она лежала на втором ярусе.

Кровать купили, когда ей было семь, — двухъярусную, «на вырост»: внизу — место для гостей, наверху — её. Она любила лезть туда по лесенке. Сейчас она лежала, глядя в побелку в тридцати сантиметрах от лица, и слушала, как за стеной спит мать. Мать дышала тяжело, с присвистом. Она всегда так дышала, когда уставала. Даша этого не помнила. Она вспомнила это только вчера ночью, когда услышала, — и лежала потом до рассвета, потому что звук был знакомый, а память о нём — нет.

Она спустилась по лесенке. Ступеньки были узкие, нога соскользнула, и она проехала последние две, ударившись коленом. Посидела на полу. Потёрла колено. Оно было маленькое и острое, и болело по-детски — сильно и сразу.

Кукла лежала на подушке нижнего яруса, лицом в потолок. Вышитые глаза, серое платье из льна, коса из распушенной верёвки. Даша поправила на ней подол.

* * *

На кухне она зажгла газ и достала сковородку. Сковородка была чугунная, бабушкина, тяжёлая. Даша подняла её двумя руками и всё равно чуть не уронила — кисти не держали. Она поставила сковородку на конфорку, отдышалась.

В холодильнике был творог. Мать купила его вчера, два килограмма, сразу, и Даша понимала зачем: мать не знала, что ей теперь покупать, и купила то, что она любила в семь лет. Сырники. Даша любила сырники в семь лет.

Она замесила творог с яйцом и мукой в миске. Руки делали это сами. Руки знали, сколько муки, — на глаз, по тому, как тесто липнет к пальцам. Знали, что лепить надо мокрыми ладонями. Знали, что первый сырник со сковородки отдадут младшему за столом. Там первый всегда доставался Вере. Агафья ещё не ела.

Она положила на сковородку первые четыре. Масло зашипело. Она взяла лопатку, чтобы перевернуть, и сковородка повернулась под рукой — она была выше, чем нужно, плита была выше, чем нужно, и локоть не доставал. Масло плеснуло на палец.

Она не вскрикнула. Сунула палец в рот, подержала. Потом пододвинула табуретку, встала на неё и перевернула сырники уже сверху.

Так её и застала мать: на табуретке, у плиты, с пальцем во рту, в шесть утра.

Мать стояла в дверях в ночной рубашке. Она смотрела не на сырники и не на палец. Она смотрела на табуретку.

— Ты что делаешь? — сказала она.

— Завтрак.

— Ты обожглась?

— Немножко.

— Слезь.

Даша слезла. Мать подошла, взяла её руку, посмотрела на палец, — красный, с белым пятнышком на подушечке, — и потащила к раковине, под холодную воду. Держала её руку под водой и молчала. Даша стояла и не вырывалась. Мать держала долго, дольше, чем нужно. Даша знала, сколько нужно, — там она сама сотни раз держала под водой обожжённые руки — детские, свои, чужие, — и знала, что уже хватит, но не говорила.

— Тебе одиннадцать лет, — сказала мать воде.

— Я знаю.

— Ты не знаешь, — сказала мать. — Ты ничего не знаешь.

Сырники на плите начали подгорать. Даша почувствовала запах и повернула голову. Мать выключила газ, не глядя.

* * *

Они ели подгоревшие сырники. Мать ела быстро, не поднимая головы. Даша — медленно, как привыкла: тщательно, чтобы хватило надолго.

— Мам, — сказала Даша. — Ты мне можешь рассказать?

Мать подняла глаза.

— Что?

— Как было. Когда я пропала. — Даша положила вилку. — По часам. С самого начала.

Мать смотрела на неё. Лицо у неё было серое, ночное, с отпечатком подушки на щеке.

— Зачем тебе?

— Надо.

— Даша, это... это было пять дней. Ты сама знаешь. Тебя не было, мы искали.

— Я не знаю, — сказала Даша. — Меня не было. Я не знаю, как было у тебя.

Мать отложила вилку тоже. Потом встала, налила себе воды из чайника, выпила стоя и снова села.

— В восемь сорок, — сказала она. — Мне позвонили из школы. Нет. Не в восемь сорок. Я в восемь сорок пришла на работу, а позвонили позже. В десять. В пять минут одиннадцатого. Я как раз чайник поставила.

— Чайник, — сказала Даша.

— Чайник. Я его потом выключить забыла. Девочки выключили. Я ушла, а он стоял на подоконнике, и кто-то выключил. — Мать смотрела в стол. — Директор сказала: автобус не доехал до лагеря. Я сказала: ну, сломались где-то. Она говорит: телефоны не отвечают. Я говорю: там связи нет. Я ей объясняла, понимаешь? Я ей объясняла, что там нет связи.

Она замолчала снова. Даша ждала.

— Я поехала на мост, — сказала мать. — На такси. Там уже был Орлов, Машин отец. Он стоял на мосту и смотрел в воду. Я подошла к нему и спросила: «Вы кто?» Я его не знала. А он посмотрел на меня и сказал: «Я Машин папа». И я поняла, что он смотрит в воду, потому что... — Голос у неё кончился. Она подышала. — В час дня. Это было в час дня. Может, в начале второго.

Она замолчала и больше не начинала. Сидела, глядя на сковородку.

— Потом, — сказала мать. — Ладно? Дальше потом.

— Ладно, — сказала Даша.

Она встала, взяла обе тарелки и пошла к раковине. Мать не остановила её.

* * *

Полынь росла у гаражей, на пустыре за домом, где когда-то собирались строить детскую площадку и не построили. Даша знала это место с детства, со здешнего: там лазили по бетонным блокам, искали стёкла, жгли спички. Полыни там было по пояс — серой, пахучей, уже подсохшей к осени.

Мать пошла с ней. Ни о чём не спросила, когда Даша сказала «пойду погуляю», просто надела куртку и пошла рядом, и Даша не возражала. Она понимала. Если бы Вера в одиннадцать лет пять дней пропадала в лесу, она бы тоже ходила за ней по пятам до самой смерти.

Даша рвала полынь — верхушки, мягкие, с соцветиями, — и складывала в пакет. Мать стояла рядом, засунув руки в карманы.

— Это зачем?

— Палычу. Лене.

— Зачем Палычу полынь?

— Для картошки.

Даша завязала пакет — не узлом, а петлёй с перехлёстом, сеточной, той, что держит и не затягивается насмерть, — и подняла глаза.

— Он такую ел, — сказала Даша. — Там. Запекал в золе с полыньёю. Палычевская картошка. У нас все так ели. Я его вчера в больнице видела. Он не ест ничего. А это будет.

— Откуда ты знаешь, что будет?

— Знаю.

Мать протянула руку и взяла у неё пакет.

— Давай я понесу, — сказала она.

* * *

Лена Сорокина жила на окраине, в бабушкином доме с палисадником и покосившимся забором. Дом был старый, бревенчатый, обшитый вагонкой, с печью внутри и мангалом во дворе — железной бочкой на кирпичках. Лена открыла калитку в спортивном костюме, с мокрыми волосами, и посмотрела на Дашу, на мать, на пакет.

— Здравствуйте, — сказала она. — Вы... Берёзины? Даша?

— Мы на минутку, — сказала мать. — Она хотела...

— Картошка есть? — спросила Даша.

Лена моргнула.

— Есть.

— Крупная?

— Средняя. Есть крупная.

— Надо крупную, — сказала Даша. — Штук десять. И соль. Крупную, не йодированную. Фольги нет?

— Есть фольга.

— Фольга не нужна. Нужен костёр. Бочка у вас горит?

Лена посмотрела на мать Даши. Мать Даши стояла и молчала с пакетом полыни в руках.

— Горит, — сказала Лена.

* * *

Палыч сидел на крыльце, на ступеньке, уронив руки между колен. В той же позе, что на мосту, что в больнице. Лена сказала, что отца выписали утром и он с тех пор так и сидит. Встаёт, когда она зовёт есть, съедает две ложки, возвращается. В больнице не спал, таблетку дали — не берёт.

Он поднял голову, когда они вошли во двор, и увидел Дашу.

— Дарья, — сказал он.

— Здравствуйте, Павел Ильич.

Он смотрел на пакет в руках её матери. Потом снова на Дашу. Ничего не сказал.

Лена принесла дрова. Даша показала, как сложить: не шалашом, колодцем, чтобы прогорело ровно и дало угли, а не пламя. Лена складывала. Мать Даши стояла у калитки и дальше не шла. Даша подошла к ней, взяла за рукав и подвела к скамейке у стены дома.

— Сядь, мам.

Мать села.

Пока горело, Даша мыла картошку под краном в саду. Кран был низкий, по колено, и она мыла, присев на корточки, и вода была ледяная, и руки сразу стали красными. Лена хотела взять у неё. Даша сказала:

— Не надо. Я быстро.

Когда дрова прогорели, Даша кочергой разгребла угли и золу в стороны. Положила картошку в серое, горячее. На каждую — пучок полыни. Сверху — снова золу, потом угли.

— Час, — сказала она Лене. — Не трогать.

Лена смотрела на Дашины руки.

— Соль потом, — сказала Даша. — Когда достанете. Разломить — и солью сверху, крупной. Много. Он любит, чтоб пересолено. Он всегда пересаливал. Его за это ругали все, а он говорил, что так правильно.

— Он? — сказала Лена.

— Он.

Лена посмотрела на отца. Палыч сидел на крыльце и смотрел на бочку. Он слышал. Даша видела, что он слышал.

* * *

Час они сидели во дворе. Мать Даши на скамейке, Лена на перевёрнутом ведре, Даша на корточках у бочки. Палыч на крыльце. Пахло полынью и дымом, горько и сухо. Ветра не было.

Даша смотрела в угли и думала про Веру.

Вера плела птиц из проволоки. Брала у Палыча обрезки из кузницы, медные, железные, какие были, и плела — синиц, воробьёв, ласточек с раздвоенным хвостом. Плела быстро, не глядя, за разговором, и раздавала малышам. Половина детей в посёлке ходила с Вериными птицами в карманах. Одну она отдала матери в последний день. Просто так, мимоходом: на, мам, это тебе, а то у всех есть, а у тебя нет.

Птица лежала теперь у Даши в кармане куртки. Даша не вынимала её. Она трогала её через ткань, когда хотела знать, что та на месте.

Артём завязывал на поясе верёвочку. Всегда. С пяти лет — сначала Даша ему повязала, чтобы он не терял варежки, а потом он уже сам, всю жизнь, и вертел её, когда думал. Когда ему было двадцать два, на поясе у него болталась та же верёвочка, только уже не варежки на ней, а нож и огниво. Он вертел её, когда сердился на отца. Он часто сердился на отца в последние годы.

Даша думала о них просто. Как думают о тех, кто ушёл в соседнюю деревню и скоро вернётся. Она знала, что не вернутся. Она знала, где они. Она думала о них так, потому что иначе думать было нельзя, а не думать — она пробовала в первую ночь, в больнице, и в ту ночь чуть не задохнулась.

— Даша, — сказала мать со скамейки. — Ты чего?

— Ничего, — сказала Даша. — Жду.

* * *

Через час она разгребла угли. Картошка была чёрная снаружи, с налипшей золой и сгоревшими стеблями полыни. Лена принесла миску. Даша выкатывала картошку кочергой в миску, одну за другой, и дула на пальцы.

Лена отнесла миску на крыльцо. Поставила рядом с отцом. Разломила одну картофелину — изнутри пошёл пар, белый, рассыпчатый, и запах, горький и тёплый. Лена посыпала её солью из пачки. Много. Посмотрела на Дашу. Даша кивнула: ещё. Лена посыпала ещё.

Протянула отцу.

Палыч взял. Подержал в ладони — картошка была горячая, он не морщился. Поднёс ко рту. Откусил.

Жевал долго. Даша смотрела на него от бочки. Мать на скамейке перестала дышать.

— Пересолила, — сказал Палыч.

Лена растерялась.

— Пап, я...

— Правильно, — сказал Палыч.

И заплакал.

Он не закрыл лицо руками, как на мосту. Он сидел с картошкой в ладони и плакал, открыто, некрасиво, как плачут мужики, которые не умеют, — рот кривится, слёзы бегут, а он не вытирает. Лена стояла над ним и не знала, куда деть руки. Потом села рядом, на ступеньку, и обняла его за плечи. Он не отстранился.

Даша отвернулась к бочке и стала ровнять угли кочергой, хотя ровнять было уже нечего. Мать подошла к ней. Встала рядом. Ничего не сказала. Даша почувствовала её руку у себя на голове — плашмя, лёгкую, — и не обернулась.

Когда Палыч доел, он сказал Лене:

— Ещё одну.

Лена разломилась ещё одну. Посолила. Он съел и её.

* * *

У калитки, когда они уходили, Палыч поймал Дашу за рукав. Мать уже вышла на улицу.

— Гришка как? — спросил он тихо.

— Не знаю, — сказала Даша. — Не видела.

— Не ходила?

— Нет.

Палыч кивнул. Отпустил рукав.

— Ну, — сказал он. — Это ваше.

И пошёл обратно к крыльцу, тяжело, медленно, держась одной рукой за штaketник.

* * *

Рощины жили на соседней улице, тоже в частном доме, только поменьше и поновее. Мать не хотела заходить: поздно уже, неудобно. Даша сказала, что на пять минут, отдать Насте полынь — немного осталось в пакете, а Настя её всегда сушила и клала в сундуки от моли. Мать согласилась на пять минут.

Дверь открыла мать Рощиных. Та самая, молодая, в спортивном костюме. Увидела Дашу и обрадовалась, а потом ей стало неловко, что обрадовалась, и она стала приглашать всех на чай, суетливо и громко.

В доме было жарко. Печь — белёная, старая, на полкомнаты — уже топилась, хотя на улице было плюс двенадцать. Мать Рощиных сказала, что Ксению после больницы знобит, вот и топят. Ксения сидела на диване, укутанная в плед до подбородка, смотрела мультфильм с выключенным звуком и ела печенье.

Настя была на кухне, а с ней — Стёпа Литвинов. Он сидел у окна на табуретке и что-то строгал ножом из палочки. Увидел Дашу, кивнул.

— Привет, — сказала Настя. — Ты чего это?

— Полынь тебе. От моли.

Настя взяла пакет, понюхала.

— Хорошая.

— У гаражей. Там много.

Они сидели на кухне, пока матери пили чай в комнате. Говорили мало. Настя рассказывала, что Ксенька спит хорошо, а она — нет. Стёпа строгал. Даша смотрела на его руки: нож был кухонный, тупой, неудобный, а он строгал всё равно, мелко, медленно, — не делал ничего, просто держал руки занятыми.

В кухне было душно: печь стояла стеной между комнатой и кухней, грела на обе стороны. Стёпа отложил палочку, встал на табуретку и открыл форточку. Узкую, вверх. Холодный воздух потянул по полу.

— Стёпа, — крикнула мать Рощиных из комнаты. — Дует же! Ксения только согрелась!

— Душно, — сказал Стёпа. Не громко, но так, что было слышно.

— Мам, — сказала Настя. — Он всегда так. Он без форточки не может.

— Простудитесь все!

— Не простудимся, — сказала Настя. — Он душный. Ему надо.

Мать Рощиных в комнате что-то сказала про сквозняк и замолчала. Форточку никто не закрыл.

Стёпа сел обратно на табуретку и снова взял палочку. Настя посмотрела на него — не долго, мельком, — и Даша узнала этот взгляд. Так она сама смотрела на Гришу, когда он засыпал за столом над сетью, не дочинив.

Даша отвернулась к окну.

* * *

Дома мать сразу ушла в ванную и долго не выходила. Шумела вода. Даша сидела в комнате на нижнем ярусе, рядом с куклой, и ждала.

Мать вышла с мокрым лицом. Села на другой край кровати. Нижний ярус был узкий, и они сидели, почти касаясь коленями, — мать, тридцать четыре года, и она, одиннадцать.

— Даш.

— Да.

— Я не могу. По часам. Мне надо... Мне надо по кусочку. Можно?

— Можно, — сказала Даша.

Мать посидела.

— А ты мне расскажешь? — спросила она. Тихо, глядя в пол.

— Что?

— Ну. Про них. — Мать не подняла глаз. — Ты следователю сказала, что двое. Я же рядом сидела. А мне ты не рассказывала.

Даша молчала.

— Если не хочешь, не надо, — сказала мать быстро. — Я просто...

— Артём и Вера, — сказала Даша.

Мать подняла голову.

— Артёму двадцать два. Вере восемнадцать. Вера злая на язык. Она мне один раз сказала, что я сырники пересушиваю. При всех. Я её полотенцем погнала. — Даша смотрела на куклу. — А Артём спокойный. Он на поясе верёвочку носит. Я ему повязала, когда ему пять было, чтобы варежки не терял.

Мать сидела неподвижно.

Даша сунула руку в карман куртки и вынула птицу. Медная проволока, потемневшая, с прозеленью на сгибах. Ласточка. Хвост вилкой, крылья раскинуты, на месте глаза — крошечная петелька.

— Вот, — сказала Даша. — Это Вера сделала. Она их всем плела.

Мать взяла птицу двумя пальцами. Осторожно, как берут что-то, что может рассыпаться. Повертела. Поднесла ближе к глазам, к свету от лампы.

— Какая маленькая, — сказала она.

Потом вернула. Даша положила птицу обратно в карман.

Они посидели. Мать дышала с присвистом.

— Завтра, — сказала мать. — Я тебе завтра про вторник. Про собак. Там были собаки, три собаки, я их всех запомнила. А ты мне — про неё. Про Веру. Ладно?

— Ладно.

— Договорились, — сказала мать.

Она встала. В дверях обернулась.

— А сырники ты правда пересушиваешь?

— Пересушиваю, — сказала Даша. — Всю жизнь.

Мать засмеялась. Коротко, удивлённо, как смеются, когда не ждали, что будет смешно. И ушла к себе, не закрыв дверь.

Даша легла на нижний ярус, рядом с куклой, не раздеваясь. Положила руку на карман. Птица лежала там, где надо.

Глава 10

Вторник, 23 сентября

Качели во дворе скрипели с весны. Олег помнил это — здешнее, детское: каждый вечер под окном, на одной ноте — так тянут ржавую дверь и никак не дотянут. Мать говорила, что напишет в управляющую. Не написала.

Он вышел во двор в восемь, с материным ящиком для инструментов. Ящик был пластмассовый, красный, с треснувшей ручкой. Внутри — молоток, плоскогубцы, две отвёртки, моток изолянт, банка с гвоздями вперемешку с шурупами и пузырёк машинного масла, засохшего у горлышка. Олег перебрал всё, разложил на скамейке по порядку. Масло — отдельно. Гвозди он высыпал на газету и стал разбирать: гвозди к гвоздям, шурупы к шурупам.

Качели были простые: рама из труб, перекладина, две цепи, сиденье из доски. Скрипело в двух местах — где цепь цеплялась за перекладину. Звенья там стёрлись, ушки разболтались. Одно звено с левой стороны было почти перетёрто, тонкое, как проволока.

Он встал на скамейку, потом на раму. Рама была высокая. Он подтянулся, перекинул ногу и сел верхом на перекладину. Руки устали сразу — плечи, кисти. Он посидел, отдышался.

Тело было не то. Он знал это с субботы и всё равно каждый раз удивлялся. Там он поднимал наковальню вдвоём с Палычем, а один — заготовку в пуд. Держал клещами раскалённое, пока Палыч бил, по полчаса. Здесь он еле залез на трубу.

Он взялся за перетёртое звено плоскогубцами и попробовал разогнуть. Плоскогубцы соскользнули. Он попробовал ещё раз, двумя руками. Звено не поддалось. Кисть заныла.

Он слез, сходил в подвал, где у матери хранились старые лыжи и банки, и нашёл там обрезок трубы. Надел трубу на ручку плоскогубцев. Залез обратно. Рычаг. Звено разогнулось с первого раза.

Так и работал: с трубой, медленно, по одному звену. Снял перетёртое, соединил цепь проволокой, загнул концы внутрь, чтобы не цеплялись за руки. Смазал ушки маслом, разведя засохшее машинным из гаража соседа — сосед вышел покурить, увидел, что он делает, и молча принёс ему бутылку. Потом так же молча ушёл.

* * *

К десяти во дворе были дети. Трое: девочка лет шести в розовой шапке, её брат лет четырёх и мальчик постарше, лет восьми, с самокатом. Они стояли у рамы и смотрели вверх.

— Ты чего делаешь? — спросила девочка.

— Чиню.

— Зачем?

— Скрипят.

Девочка подумала.

— А нам нравится, когда скрипят.

— Скрипят — значит, скоро порвутся, — сказал Олег. — Кто-нибудь сядет, и всё.

Девочка подумала ещё.

— А ты сварщик?

— Нет.

— А кто?

— Никто, — сказал он. — Школьник.

— Ты Олег с третьего подъезда, — сказал мальчик с самокатом. — Ты пропадал. Про тебя по телевизору было.

— Было.

— А правда, что вы в лесу жили?

Олег загнул последний конец проволоки и посмотрел вниз, на них. Три головы, задранные вверх.

— Правда, — сказал он.

— Долго?

— Долго.

— А что вы ели?

— Всё ели. Рыбу. Грибы. Картошку.

— А медведи были?

— Не было медведей.

— А волки?

— Волки были, — сказал Олег. — Далеко. Их слышно было зимой.

— Страшно?

— Сначала страшно.

Мальчик с самокатом хотел спросить что-то ещё, но девочка уже потеряла интерес и потянула брата к песочнице. Мальчик постоял, покатал самокат взад-вперёд и тоже ушёл.

Олег слез. Сел на сиденье, потом встал на него, подпрыгнул. Цепи держали. Не скрипели. Он покачался стоя, глядя на окна. В окне третьего этажа стояла мать и смотрела на него. Он помахал ей. Она не помахала в ответ, только отошла от окна.

* * *

Витя Савельев вышел из четвёртого подъезда в одиннадцать, с отцом.

Они жили в одном дворе всегда — Олег в третьем, Витя в четвёртом. Здесь их разделяли три года и одна стена: Витька был малышня, Олег с ним не водился. Там Витька ходил за ним хвостом с первого лета, потому что кроме Олега никто не хотел с ним возиться, а Олег не гнал.

Отец Вити — плотный, лысый, в кожаной куртке — посадил сына на скамейку у подъезда и сел рядом с телефоном. Витя сидел, болтал ногами и смотрел на качели.

Олег знал, что Витя смотрит. Он не стал ждать, пока тот попросит.

— Вить, — сказал он через двор. — Иди. Я починил.

Витя посмотрел на отца. Отец посмотрел на Олега. Взгляд был тяжёлый. Отец Вити, Олег слышал в больнице, ходил к Савиной и спрашивал, почему его сын должен слушать, как какой-то Гарин рассказывает, что его сына хоронили. Отец Вити не верил ни во что из того, что говорили. Отец Вити считал, что всех детей где-то держали и чем-то накачали, а Савина ничего не делает.

— Иди, — сказал отец Вити. — Пять минут.

Витя слез со скамейки и побежал. Прямо, не глядя под ноги, по-детски, — споткнулся о бордюр песочницы, не упал, побежал дальше. Сел на качели. Взялся за цепи.

— Покачаешь?

Олег встал сзади. Взялся за доску. Толкнул.

Не сильно. Качели пошли вперёд, вернулись. Он толкнул ещё. Витька засмеялся, откинулся назад, вытянул ноги.

— Выше!

Олег толкнул выше.

— Ещё!

Ещё. Цепи не скрипели. Витька взлетал, и Олег видел снизу его кроссовки, задранные к небу, и затылок, когда тот летел назад.

— Ещё выше!

Олег толкнул. Качели взлетели почти до перекладины. Витька перестал смеяться.

Олег увидел это не по лицу — по рукам. Витька вцепился в цепи так, что пальцы побелели. Смотрел вниз. На землю, которая уходила из-под ног, когда качели летели вперёд.

— Стоп, — сказал Витька. Тихо. — Стой.

Олег поймал доску на возврате, обеими руками, упёрся ногами. Его дёрнуло вперёд, он еле удержал. Качели остановились.

Витька сидел, вцепившись в цепи. Дышал часто.

— Ничего, — сказал Олег. — Всё. Стоят.

— Я знаю, — сказал Витька. Он разжал пальцы. Посмотрел на ладони — на них отпечатались звенья. — Я просто... Высоко.

— Высоко, — согласился Олег.

Витька посидел. Потом спрыгнул с качелей, отошёл на два шага и обернулся.

— Олег. А ты помнишь элеватор?

— Помню.

— Я тогда дальше всех перегнулся, да? — Витька смотрел на него снизу, шурясь от солнца. — Ты же видел. Я тебя тогда обыграл. Я выиграл?

Олег молчал.

Витькин отец поднял голову от телефона.

— Выиграл, — сказал Олег.

Витька улыбнулся. Широко, во весь рот, по-детски. Кивнул и побежал обратно к отцу.

Олег стоял у качелей и держал доску. Он держал её, пока отец не увёл Витьку в подъезд. Потом отпустил. Качели качнулись на пустой цепи и не скрипнули.

* * *

Маша Орлова пришла во двор в три часа дня.

Мать её, Ольга, осталась в машине у арки: Олег видел серый «Пассат» и женщину за рулём, которая не выходила. Маша шла через двор одна, в куртке, с маленьким рюкзаком за спиной. Шла не по-детски: не глядя по сторонам, прямо, к нему.

Она теперь ходила ко всем. По очереди, по одному в день. Ходила и смотрела. Как там ходила вечерами по посёлку, от окна к окну, и стучала. Только тут окна были на третьем этаже.

— Здравствуй, Олег.

— Здравствуй.

Она села на скамейку, где утром лежали гвозди. Он сел рядом, на другой край.

— Качели починил, — сказала она.

— Починил.

— Витька катался.

— Ты видела?

— Соседка твоя сказала. Со второго этажа, в форточку. Говорит: раскачал малого, а тот испугался, вцепился — так он сразу остановил.

Олег ничего не сказал.

Маша сидела, положив руки на колени, и смотрела на качели. Она была на год младше него, здесь и там. Олег всегда немного её боялся. Не её саму — того, как она смотрит. Как врач: уже знает, где у тебя болит, и ждёт, пока скажешь сам.

Она знала. С двадцатого года. Он сам ей сказал — пьяный, в первый и единственный раз в жизни пьяный, на поминках по Ксеньке, только не тех, а через пятнадцать лет, когда помянули всех сразу. Он сказал ей у колодца, ночью: это я, Маш. Витька. Я его толкнул. Я не хотел. Она тогда ничего не ответила. Посмотрела на него, кивнула и ушла. И никогда больше не говорила об этом. Ни разу за семнадцать лет. Она стала главной на Совете, а он остался у Палыча в кузне, и она никогда не сказала ни слова.

— Маш, — сказал он. — Я скажу.

Она не повернула головы.

— Кому?

— Савельевым. Витьке. Савиной.

Маша молчала. Олег видел её профиль: скулу, след от царапины.

— Ему десять лет, Олег, — сказала она.

— Ему семнадцать было.

— Здесь — десять. — Она повернулась. — Он сегодня катался на качелях. Ты что ему скажешь? Что ты его убил? Он спросит, как это. Он не поймёт, как это — убил, если он вот, живой. Он будет думать об этом каждый день. Ты ему не облегчишь.

— Я себе, — сказал Олег.

Маша смотрела на него.

— Тридцать лет, — сказал он. — Тридцать лет я молчал. Там нельзя было сказать. Вера Павловна бы... Я боялся. Потом было поздно. Потом ещё поздно. А тут, Маш... Тут можно. Понимаешь? Он живой. Тут можно сказать — и он услышит. Там бы он не услышал никогда.

Маша долго молчала.

— Тогда скажи сначала мне, — сказала она. — Что ты ему скажешь. Слово в слово.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.